А. Куприн

На переломе (Кадеты)
Александр Куприн

Аннотация
Куприн Александр. На переломе. (Кадеты)
I
II
III
IV
V
VI
VII

Аннотация

Впервые повесть была опубликована в газете «Жизнь и искусство» в 1900 году под названием «На первых порах» с подзаголовком «Очерки военно-гимназического быта». Под названием «Кадеты» с незначительными изменениями опубликована в 1906 году в журнале «Нива».

Повесть автобиографична, в ней дана характеристика нравов, царивших во втором Московском кадетском корпусе во время обучения в нем Куприна.

Куприн Александр
На переломе
(Кадеты)

I

Первые впечатления. — Старички. — Прочная пуговица. — Что такое маслянка. — Грузов. — Ночь.

— Эй, как тебя!.. Новичок… как твоя фамилия?

Буланин даже и не подозревал, что этот окрик относится к нему — до того он был оглушен новыми впечатлениями. Он только что пришел из приемной комнаты, где его мать упрашивала какого-то высокого военного в бакенбардах быть поснисходительнее на первых порах к ее Мишеньке. «Уж вы, пожалуйста, с ним не по всей строгости, — говорила она, гладя в то же время бессознательно голову сына, — он у меня такой нежный… такой впечатлительный… он совсем на других мальчиков не похож». При этом у нее было такое жалкое, просящее, совсем непривычное для Буланина лицо, а высокий военный только кланялся и призвякивал шпорами. По-видимому, он торопился уйти, но, в силу давнишней привычки, продолжал выслушивать с равнодушным и вежливым терпением эти излияния материнской заботливости…

Две длинные рекреационные залы младшего возраста были полны народа. Новички робко жались вдоль стен и сидели на подоконниках, одетые в самые разнообразные костюмы: тут были желтые, голубые и красные косоворотки-рубашки, матросские курточки с золотыми якорями, высокие до колен чулки и сапожки с лаковыми отворотами, пояса широкие кожаные и узкие позументные. «Старички» в серых каламянковых блузах, подпоясанных ремнями, и таких же панталонах сразу бросались в глаза и своим однообразным костюмом и в особенности развязными манерами. Они ходили по двое и по трое по зале, обнявшись, заломив истрепанные кепи на затылок; некоторые перекликались через всю залу, иные с криком гонялись друг за другом. Густая пыль поднималась с натертого мастикой паркета. Можно было подумать, что вся эта топочущая, кричащая и свистящая толпа нарочно старалась кого-то ошеломить своей возней и гамом.

— Ты оглох, что ли? Как твоя фамилия, я тебя спрашиваю?

Буланин вздрогнул и поднял глаза. Перед ним, заложив руки в карманы панталон, стоял рослый воспитанник и рассматривал его сонным, скуча-

ющим взглядом.

— Моя фамилия Буланин, — ответил новичок.

— Очень рад. А у тебя гостинцы есть, Буланин?

— Нет…

— Это, братец, скверно, что у тебя нет гостинцев. Пойдешь в отпуск принеси.

— Хорошо, я принесу.

— И со мной поделись… Ладно?..

— Хорошо, с удовольствием.

Но старичок не уходил. Он, по-видимому, скучал и искал развлечения. Внимание его привлекли большие металлические пуговицы, пришитые в два ряда на курточке Буланина.

— Ишь ты, какие пуговицы у тебя ловкие, — сказал он, трогая одну из них пальцем.

— О, это такие пуговицы… — суетливо обрадовался Буланин. — Их ни за что оторвать нельзя. Вот попробуй-ка!

Старичок захватил между своими двумя грязными Пальцами пуговицу и начал вертеть ее. Но пуговица не поддавалась. Курточка шилась дома, шилась на рост, в расчете нарядить в нее Васеньку, когда Мишеньке она станет мала. А пуговицы пришивала сама мать двойной провощенной ниткой.

Воспитанник оставил пуговицу, поглядел на

свои пальцы, где от нажима острых краев остались синие рубцы, и сказал:

— Крепкая пуговица!.. Эй, Базутка, — крикнул он пробегавшему мимо маленькому белокурому, розовому толстяку, — посмотри, какая у новичка пуговица здоровая!

Скоро вокруг Буланина, в углу между печкой и дверью, образовалась довольно густая толпа. Тотчас же установилась очередь. «Чур, я за Базуткой!» — крикнул чей-то голос, и тотчас же остальные загалдели: «А я за Миллером! А я за Утконосом! А я за тобой!» — и покамест один вертел пуговицу, другие уже протягивали руки и даже пощелкивали от нетерпения пальцами.

Но пуговица держалась по-прежнему крепко.

— Позовите Грузова! — сказал кто-то из толпы.

Тотчас же другие закричали: «Грузов! Грузов!» Двое побежали его разыскивать.

Пришел Грузов, малый лет пятнадцати, с желтым, испитым, арестантским лицом, сидевший в первых двух классах уже четыре года, — один из первых силачей возраста. Он, собственно, не шел, а влачился, не поднимая ног от земли и при каждом шаге падая туловищем то в одну, то в другую сторону, точно плыл или катился на коньках. При этом он поминутно сплевывал сквозь зубы с

какой-то особенной кучерской лихостью. Расталкивая кучку плечом, он спросил сиплым басом:

— Что у вас тут, ребята?

Ему рассказали, в чем дело. Но, чувствуя себя героем минуты, он не торопился. Оглядев внимательно новичка с ног до головы, он буркнул:

— Фамилия?..

— Что? — спросил робко Буланин.

— Дурак, как твоя фамилия?

— Бу… Буланин…

— А почему же не Савраскин? Ишь ты фамилия-то какая… лошадиная.

Кругом услужливо рассмеялись. Грузов продолжал:

— А ты Буланка, пробовал когда-нибудь маслянки?

— Н… нет… не пробовал.

— Как? Ни разу не пробовал?

— Ни разу…

— Вот так штука! Хочешь, я тебя угощу?

И, не дожидаясь ответа Буланина, Грузов нагнул его голову вниз и очень больно и быстро ударил по ней сначала концом большого пальца, а потом дробно костяшками всех остальных, сжатых в кулак.

— Вот тебе маслянка, и другая, и третья?.. Ну

что, Буланка, вкусно? Может быть, еще хочешь?

Старички радостно гоготали: «Уж этот Грузов! Отчаянный!.. Здорово новичка маслянками накормил».

Буланин тоже силился улыбнуться, хотя от трех маслянок ему было так больно, что невольно слезы выступили на глазах. Грузову объяснили, зачем его звали. Он самоуверенно взялся за пуговицу и стал ее с ожесточением крутить. Однако, несмотря на то, что он прилагал все большие и большие усилия, пуговица продолжала упорно держаться на своем месте. Тогда, из боязни уронить свой авторитет перед «малышами», весь красный от натуги, он уперся одной рукой в грудь Буланина, а другой изо всех сил рванул пуговицу к себе. Пуговица отлетела с мясом, но толчок был так быстр и внезапен, что Буланин сразу сел на пол. На этот раз никто не рассмеялся. Может быть, у каждого мелькнула в это мгновение мысль, что и он когда-то был новичком, в такой же курточке, сшитой дома любимыми руками.

Буланин поднялся на ноги. Как он ни старался удержаться, слезы все-таки же покатились из его глаз, и он, закрыв лицо руками, прижался к печке.

— Эх ты, рева-корова! — произнес Грузов пре-

зрительно, стукнул новичка ладонью по затылку, бросил ему пуговицу в лицо и ушел своей разгильдяйской походкой.

Скоро Буланин остался один. Он продолжал плакать. Кроме боли и незаслуженной обиды, какое-то странное, сложное чувство терзало его маленькое сердце, — чувство, похожее на то, как будто бы он сам только что совершил какой-то нехороший, непоправимый, глупый поступок. Но в этом чувстве он покамест разобраться не мог.

Страшно медленно, скучно и тяжело, точно длинный сон, тянулся для Буланина этот первый день гимназической жизни. Были минуты, когда ему начинало казаться, что не пять или шесть часов, а по крайней мере полмесяца прошло с того грустного момента, как он вместе с матерью взбирался по широким каменным ступеням парадного крыльца и с трепетом вступил в огромные стеклянные двери, на которых медь блестела с холодной и внушительной яркостью…

Одинокий, точно забытый всем светом, мальчик рассматривал окружавшую его казенную обстановку. Две длинные залы — рекреационная и чайная (они разделялись аркой) — были выкрашены снизу до высоты человеческого роста коричневой масляной краской, а выше — розовой

известкой. По левую сторону рекреационной залы тянулись окна, полузаделанные решетками, а по правую стеклянные двери, ведущие в классы; простенки между дверьми и окнами были заняты раскрашенными картинами из отечественной истории и рисунками разных зверей, а в дальнем углу лампада теплилась перед огромным образом св. Александра Невского, к которому вели три обитые красным сукном ступеньки. Вокруг стен чайной залы стояли черные столы и скамейки; их сдвигали в один общий стол к чаю и завтраку. По стенам тоже висели картины, изображавшие геройские подвиги русских воинов, но висели настолько высоко, что, даже ставши на стол, нельзя было рассмотреть, что под ними подписано… Вдоль обеих зал, как раз посреди их, висел длинный ряд опускных ламп с абажурами и медными шарами для противовеса…

Наскучив бродить вдоль этих бесконечно-длинных зал, Буланин вышел на плац — большую квадратную лужайку, окруженную с двух сторон валом, а с двух других — сплошной стеной желтой акации. На плацу старички играли в лапту, другие ходили обнявшись, третьи с вала бросали камни в зеленый от тины пруд, лежавший глаголем шагах в пятидесяти за линией валов; к пруду

гимназистам ходить не позволялось, и чтобы следить за этим — на валу во время прогулки торчал дежурный дядька.

Все эти впечатления резкими, неизгладимыми чертами запали в память Буланина. Сколько раз потом, за все семь лет гимназической жизни, видел он и эти коричневые с розовым стены, и плац с чахлой травой, вытоптанной многочисленными ногами, и длинные, узкие коридоры, и чугунную лестницу, — и так привык к ним, что они сделались как бы частью его самого… Но впечатления первого дня все-таки не умирали в его душе, и он всегда мог вызвать чрезвычайно живо перед своими глазами тогдашний вид всех этих предметов, вид, совсем отличный от их настоящего вида, гораздо более яркий, свежий и как будто бы наивный.

Вечером Буланину, вместе с прочими новичками, дали в каменной кружке мутного сладкого чаю и половину французской булки. Но булка оказалась кислой на вкус, а чай отдавал рыбой. После чая дядька показал Буланину его кровать.

Спальня младшего возраста долго не могла угомониться. Старички в одних рубашках перебегали с кровати на кровать, слышался хохот, шум возни, звонкие удары ладонью по голому телу.

Только через час стал затихать этот кавардак и умолк сердитый голос воспитателя, окликавшего шалунов по фамилиям.

Когда же шум совершенно прекратился, когда отовсюду послышалось глубокое дыхание спящих, прерываемое изредка сонным бредом, Буланину сделалось невыразимо тяжело. Все, что на время забылось им, что заволоклось новыми впечатлениями, — все это вдруг припомнилось ему с беспощадной ясностью: дом, сестры, брат, друг детских игр — кухаркин племянник Савка и, наконец, это дорогое, близкое лицо, которое сегодня в приемной казалось таким просящим. Тонкая, глубокая нежность и какая-то болезненная жалость к матери переполнила сердце Буланина. Ему припомнились все те случаи, когда он бывал с нею недостаточно нежен, непочтителен, порою даже груб. И ему представлялось, что если бы теперь, каким-нибудь волшебством, увиделся он с матерью, то он сумел бы собрать в своей душе такой запас любви, благодарности и ласки, что его хватило бы на многие и многие годы одиночества. В его разгоряченном, взволнованном и подавленном уме лицо матери представлялось таким бледным и болезненным, гимназия — таким неуютным и суровым местом, а он сам

— таким несчастным, заброшенным мальчиком, что Буланин, прижавшись крепко ртом к подушке, заплакал жгучими, отчаянными слезами, от которых вздрагивала его узкая железная кровать, а в горле стоял какой-то сухой колючий клубок… Он вспомнил также сегодняшнюю историю с пуговицей и покраснел, несмотря на темноту. «Бедная мама! Как старательно пришивала она эти пуговицы, откусывая концы нитки зубами. С какою гордостью во время примерки любовалась она этой курточкой, обдергивая ее со всех сторон…» Буланин почувствовал, что он совершил сегодня утром против нее нехороший, низкий и трусливый поступок, когда предлагал старичкам оторвать пуговицу.

Он плакал до тех пор, пока сон не охватил его своими широкими объятиями… Но и во сне Буланин долго еще вздыхал прерывисто и глубоко, как вздыхают после слез очень маленькие дети. Впрочем, не он один в эту ночь плакал, спрятавшись лицом в подушку, при тусклом свете висячих ламп с контр-абажурами.

II

Заря. — Умывалка. — Петух и его речь. — Учитель русского языка и его странности. — Четуха. — Одежда. — Цыпки.

Тра-та-та, тра-та-та, та, та, та, та…

Буланин только что собирался с новенькой сетью и с верным Савкою идти на перепелов… Внезапно разбуженный этими пронзительными звуками, он испуганно вскочил на кровати и раскрыл глаза. Над самой его головой стоял огромный, рыжий, веснушчатый солдат и, приложив к губам блестящую медную трубу, весь красный от натуги, с раздутыми щеками и напряженной шеей, играл какой-то оглушительный и однообразный мотив.

Было шесть часов ненастного августовского утра. По стеклам сбегали зигзагами капли дождя. В окна виднелось хмурое серое небо и желтая чахлая зелень акаций. Казалось, что однообразно-резкие звуки трубы еще сильнее и неприятнее заставляют чувствовать холод и тоску этого утра.

В первые минуты Буланин никак не мог сообразить, где он и как мог он очутиться среди этой

казарменной обстановки с длинной анфиладой розовых арок и с правильными рядами кроватей, на которых под серыми байковыми одеялами ежились спящие фигуры.

Потрубив добрых пять минут, солдат отвинтил у своей трубы мундштук, вытряхнул из нее слюну и ушел.

Дрожа от холода, воспитанники бежали в умывалку, обвязавшись вокруг пояса полотенцем. Всю умывалку занимал длинный узкий ящик из красной меди с двадцатью подъемными стержнями снизу. Вокруг него уже толпились воспитанники, нетерпеливо дожидаясь очереди, толкаясь, фыркая и обливая друг друга. Все не выспались; старички были злы и ругались хриплыми, сонными голосами. Несколько раз, когда Буланин, улучив минутку, становился под кран, кто-нибудь сзади брал его за ворот рубашки и грубо отталкивал. Умыться ему удалось только в самой последней очереди.

После чая пришли воспитатели, разделили всех новичков на два отделения и тотчас же развели их по классам.

Во втором отделении, куда попал Буланин, было двое второгодников: Бринкен — длинный, худой остзеец с упрямыми водянистыми глазами

и висячим немецким носом, и Сельский — маленький веселый гимназист, хорошенький, но немного кривоногий. Бринкен, едва войдя в класс, тотчас же объявил, что он занимает «Камчатку». Новички нерешительно толпились вокруг парт.

Вскоре появился воспитатель. Его приход был возвещен Сельским, закричавшим: «Тс… Петух идет!..» Петухом оказался тот самый военный в баках, которого вчера видел Буланин в приемной; его звали Яков Яковлевич фон Шеппе. Это был очень чистенький, добродушный немец. От него всегда пахло немного табаком, немного одеколоном и еще тем особенным не неприятным запахом, который издают мебель и вещи в зажиточных немецких семействах. Заложив правую руку в задний карман сюртука, а левой перебирая цепочку, висящую вдоль борта, и в то же время то поднимаясь быстро на цыпочки, то опускаясь на каблуки, Петух сказал небольшую, но прочувствованную речь:

— Ну, так вот, господа… э… э… как бы сказать… я назначен вашим воспитателем. Да было бы вам известно, что я им и останусь все… весь… э… как бы сказать… все семь лет вашего пребывания в гимназии. Поэтому смею думать и надеяться, что на вас со стороны учителей или, как бы

сказать… преподавателей — да, вот именно: преподавателей… не будет… э… не будет поступать неудовольствий и… как бы сказать… жалоб… Помните, что преподаватели суть те же ваши начальники и, кроме доброго… э… э… как бы сказать… кроме добра, вам ничего не желают…

Он помолчал немного и несколько раз подряд то поднимался, то опускался на цыпочках, точно собираясь улететь (его за эту привычку, вероятно, и прозвали Петухом), и продолжал:

— Да-с! Так-то-с. Нам с вами придется прожить вместе очень и очень долгое время… потому и постараемся… э… как бы сказать… не ссориться, не браниться, не драться-с.

Бринкен и Сельский первые поняли, что в этом фамильярно-ласковом месте речи надо засмеяться. Следом за ними захихикали и новички.

Бедный Петух вовсе не обладал красноречием. Кроме постоянных: «э»… слово-ериков и «как бы сказать», у него была несчастная привычка говорить рифмами и в одних и тех же случаях употреблять одни и те же выражения. И мальчишки, с их острой переимчивостью и наблюдательностью, очень быстро подхватили эти особенности Петуха. Бывало, по утрам, будя разоспавшихся воспитанников, Яков Яковлевич кричит: «Не

копаться, не валяться, не высиживать!..», а целый хор из-за угла, зная заранее, какая реплика следует далее, орет, подражая его интонациям: «Кто там высиживает?»

Окончив свою речь, Петух сделал всему отделению перекличку. Каждый раз, встретив более или менее громкую фамилию, он, подпрыгивая, по своему обыкновению, спрашивал:

— А вы не родственник такому-то?

И, получив большею частью отрицательный ответ, качал головою сверху вниз и говорил мягким голосом:

— Прекрасно-с. Садитесь-с.

Затем он разместил всех воспитанников на парты по двое, причем извлек Бринкена из «Камчатки» на первую скамейку, и ушел из класса.

— Как тебя зовут? — спросил Буланин своего соседа, толстощекого румяного мальчика в черной куртке с желтыми пуговицами.

— Кривцов. А тебя как?

— Меня — Буланин. Хочешь, будем дружиться?

— Давай. У тебя родные где живут?

— В Москве. А у тебя?

— В Жиздре. У нас там сад большой, и озеро, и лебеди плавают.

При этом воспоминании Кривцов не мог удер-

жать глубокого, прерывистого вздоха.

— А у меня есть собственная верховая лошадь, — Муцик зовут. Страсть какая быстрая, точно иноходец. И два кролика, ручные совсем, капусту прямо из рук берут.

Петух опять пришел, на этот раз в сопровождении дядьки, несшего на плечах большую корзину с книгами, тетрадями, перьями, карандашами, резинками и линейками. Книги уже были давно знакомы Буланину: задачник Евтушевского, французский учебник Марго, хрестоматия Поливанова и священная история Смирнова. Все эти источники премудрости оказались сильно истрепанными руками предшествующих поколений, черпавших из них свои знания. Под зачеркнутыми фамилиями прежних владельцев на холщовых переплетах писались новые фамилии, которые, в свою очередь, давали место новейшим. На многих книгах красовались бессмертные изречения вроде: «Читаю книгу, а вижу фигу», или:

Сия книга принадлежит,
Никуда не убежит,
Кто возьмет ее без спросу,
Тот останется без носу, —

или наконец: «Если ты хочешь узнать мою фамилию, см. стр. 45». На 45 странице стоит: «См. стр. 118», а 118-я страница своим чередом отсылает любопытного на дальнейшие поиски, пока он не приходит к той же самой странице, откуда начал искать незнакомца. Попадались также нередко обидные и насмешливые выражения по адресу учителя того предмета, который трактовался учебником.

— Берегите ваши руководства, — сказал Петух, когда раздача кончилась, — не делайте на них различных… э… как бы сказать… различных неприличных надписей… За утерянный или попорченный учебник будет наложено взыскание-с и будут удержаны… э… как бы сказать… деньги-с… с виновного-с… Затем назначаю старшим в классе Сельского. Он — второгодник и все знает-с, всякие… как бы сказать… порядки-с и распорядки-с… Если вам будет что-либо непонятно или… как бы сказать… желательно-с, извольте обращаться ко мне через него. Затем-с…

Кто-то отворил двери. Петух быстро обернулся и прибавил полушепотом:

— А вот и преподаватель русского языка.

Вошел с классным журналом под мышкой длинноволосый блондин иконописного облика,

в поношенном сюртуке, такой высокий и худой, что ему приходилось довольно горбиться. Сельский закричал: «Встать! Смирно!» — и подошел к нему с рапортом: «Господин преподаватель, во втором отделении первого класса N-ской военной гимназии все обстоит благополучно. По списку воспитанников тридцать, один в лазарете, налицо двадцать девять». Преподаватель (его звали Иваном Архиповичем Сахаровым) выслушал это, изобразивши всей своей нескладной фигурой вопросительный знак над маленьким Сельским, который поневоле должен был задирать голову кверху, чтобы видеть лицо Сахарова. Затем Иван Архипович мотнул головой на образ и буркнул: «Молитву!» Сельский совершенно тем же тоном, каким сейчас рапортовал, прочел «Преблагий господи».

— Садитесь! — приказал Иван Архипович и сам влез на кафедру (нечто вроде ящика без задней стенки, поставленного на широкую платформу. Сзади ящика помещался стул для преподавателя, ног которого таким образом класс не видел).

Поведение Ивана Архиповича показалось Буланину более чем странным. Прежде всего он с треском развернул журнал, хлопнул по нему ладонью и, выпятив вперед нижнюю

челюсть, сделал на класс страшные глаза. «Точь-в-точь, — подумалось Буланину, — как великан в сапогах-скороходах, прежде чем съесть одного за другим всех мальчиков». Потом он широко расставил локти на кафедре, подпер подбородок ладонями и, запустив ногти в рот, начал нараспев и сквозь зубы:

— Ну-с, орлы заморские… ученички развращенные… Что вы знаете? (Иван Архипович неожиданно качнулся вперед и икнул.) Ничего вы не знаете. Рррровно ничего. И з-знать ничего не будете. Вы дома, небось, только в бабки играли да голубей гоняли по крышам? И пре-кра-а-асно! Чуд-десно! И занимались бы этим делом до сих пор. Да и зачем вам грамоте-то знать? Не дворянское дело-с. Учитесь не учитесь, а все равно корову через «Ъ» изображать будете, потому… потому… (Иван Архипович опять качнулся, на этот раз сильнее прежнего, но опять справился с собою), потому что ваше призвание быть вечными Ми-тро-фа-ну-шка-ми.

Поговорив в этом духе минут пять, а может быть, и более того, Сахаров вдруг закрыл глаза и потерял равновесие. Локти его расскользнулись, голова беспомощно и грузно упала на раскрытый журнал, и в классе явственно раздался храп. Пре-

подаватель был безнадежно пьян.

Это случалось с ним почти каждый день. Раза два или три в месяц он, правда, являлся трезвым, но эти дни считались роковыми в гимназической[1] среде: тогда журнал украшался бесчисленными «колами» и нулями. Сам Сахаров бывал мрачен и молчалив и за всякое резкое движение высылал из класса. В каждом его слове, в каждой гримасе его опухшего и красного от водки лица чувствовалась глубокая, острая, отчаянная ненависть и к учительскому делу и к тому вертограду, который он должен был насаждать.

Зато воспитанники безнаказанно пользовались теми минутами, когда тяжелый сон похмелья овладевал больной головой Ивана Архиповича. Тотчас же кто-нибудь из «слабеньких» посылался «стеречь» у дверей, наиболее предприимчивые забирались на кафедру, переставляли в журнале баллы и ставили по своему усмотрению новые, вытаскивали из кармана преподавателя часы и рассматривали их, мазали ему мелом спину. Впрочем, к чести их надо сказать, едва только сторож, заслышав издали тяжелые шаги ин-

[1] Примечания: 1

Конечно, в настоящее время нравы кадетских корпусов переменились. Наш рассказ относится к той переходной эпохе, когда военные гимназии реформировались в корпуса. *(Прим. автора).*

спектора, пускал условное: «Тс… Толкач идет!..» — немедленно десятки услужливых, хотя и бесцеремонных рук принимались тормошить Ивана Архиповича.

Проспав довольно долгое время, Сахаров вдруг, точно от внезапного толчка, поднял голову, обвел класс мутными глазами и строго проговорил:

— Откройте ваши хрестоматии на тридцать шестой странице.

Все открыли книги с преувеличенным шумом. Сахаров указал кивком головы на соседа Буланина.

— Вот вы… господинчик… как вас? Да, да, вы самый… — прибавил он и замотал головой, видя, что Кривцов нерешительно приподнимается, ища вокруг глазами, — тот, что с желтыми пуговицами и с бородавочкой… Как ваше заглавие? Что-с? Ничего не слышу. Да встаньте же, когда с вами говорят. Заглавие ваше как, я спрашиваю?

— Фамилию говори, — шепнул сзади Сельский.

— Кривцов.

— Так и запишем. Что у вас там изображено на тридцать шестой странице, милостивый мой государь, господин Кривцов?

— «Чиж и голубь», — прочел Кривцов.

— Возглашайте-с.

Почти все преподаватели отличались какими-нибудь странностями, к которым Буланин не только привык очень быстро, но даже научился их копировать, так как всегда отличался наблюдательностью и бойкостью. Покамест в продолжение первых дней он разбирался в своих впечатлениях, два человека поневоле стали центральными фигурами в его мировоззрении: Яков Яковлевич фон Шеппе — иначе Петух — и отделенный дядька Томаш Циотух, родом литвин, которого воспитанники называли просто Четухой. Четуха служил, кажется, чуть ли не с основания прежнего кадетского корпуса, но на вид казался еще очень бодрым и красивым мужчиной, с веселыми черными глазами и черными кудрявыми волосами. Он свободно втаскивал каждое утро на третий этаж громадную вязанку дров, и в глазах гимназистов его сила превосходила всякие человеческие пределы. Он носил, как и все дядьки, куртку из толстого серого сукна, сшитую на манер рубахи. Буланин долгое время думал, что эти куртки, от которых всегда пахло щами, махоркой и какой-то едкой кислятиной, выделываются из конского волоса, и потому мысленно называл их власяницами. Изредка Четуха напивался. Тогда он шел в спальню, заби-

рался под одну из самых дальних кроватей (всем воспитанникам было известно, что он страшно боялся своей жены, которая его била) и спал там часа три, подложив под голову полено. Впрочем, Четуха не был лишен своеобразного добродушия старого солдата. Стоило послушать, как он, будя по утрам спящих воспитанников и делая вид, будто сдергивает одеяло, приговаривал с напускной угрозой: «Уставайтя! Уставайтя!.. А то я ваши булки зьим!.. Уставайтя».

Первые дни Яков Яковлевич и Четуха только и делали, что «пригоняли» новичкам одежду. Пригонка оказалась делом очень простым: построили весь младший возраст по росту, дали каждому воспитаннику номер, начиная с правого фланга до левого, а потом одели в прошлогоднее платье того же номера. Таким образом, Буланину достался очень широкий пиджак, достигавший ему чуть ли не до колен, и необыкновенно короткие панталоны.

В буднее время, осенью и зимой, гимназисты носили черные суконные курточки (они назывались пиджаками), без поясов, с синими погонами, восемью медными пуговицами в один ряд и красными петлицами на воротниках. Праздничные мундиры носились с кожаными лакированными

поясами и отличались от пиджаков золотыми галунами на петлицах и рукавах. Прослужив свой срок, мундир переделывался в пиджак и в таком виде служил уже до истления. Шинели с несколько укороченными полами выдавались гимназистам для ежедневного употребления под именем тужурок, или «дежурок», как их называл Четуха. В общем, в обыкновенное время младшие воспитанники имели вид чрезвычайно растерзанный и грязный, и нельзя сказать, чтобы начальство принимало против этого решительные меры. Зимою почти у всех «малышей» образовались на руках «цыпки», то есть кожа на наружной стороне кисти шершавела, лупилась и давала трещины, которые в скором времени сливались в одну общую грязную рану. Чесотка тоже была явлением нередким. Против этих болезней, как против всех остальных, принималось одно универсальное средство касторовое масло.

III

Суббота. — Волшебный фонарь. — Бринкен торгуется. — Мена. — Покупка. — Козел. — Дальнейшая история фонаря. — Отпуск.

С поступления Буланина в гимназию прошло уже шесть дней. Настала суббота. Этого дня Буланин дожидался с нетерпением, потому что по субботам, после уроков, воспитанники отпускались домой до восьми с половиной часов вечера воскресенья. Показаться дома в мундире с золотыми галунами и в кепи, надетом набекрень, отдавать на улице честь офицерам и видеть, как они в ответ, точно знакомому, будут прикладывать руку к козырьку, вызвать удивленно-почтительные взгляды сестер и младшего брата — все эти удовольствия казались такими заманчивыми, что предвкушение их даже несколько стушевывало, оттирало на задний план предстоящее свидание с матерью.

«А вдруг мама не приедет за мной? — беспокойно, в сотый раз, спрашивал сам себя Буланин. — Может быть, она не знает, что нас распускают по субботам? Или вдруг ей помешает что-нибудь?

Пусть уж тогда бы прислала горничную Глашу. Оно, правда, неловко как-то воспитаннику военной гимназии ехать по улице с горничной, ну, да что уж делать, если без провожатого нельзя...»

Первый урок в субботу был закон божий, но батюшка еще не приходил.

В классе стоял густой, протяжный, неумолкающий гул, напоминавший жужжание пчелиного роя. Тридцать молодых глоток одновременно пело, смеялось, читало вслух, разговаривало...

Вдруг, покрывая все голоса, в дверях раздался сиплый окрик:

— Эй, малыши! Продаю волшебный фонарь! Совсем новый! Кто хочет купить? А? Продается по случаю очень дешево! Зам-мечательная парижская вещь!

Это предложение сделал Грузов, вошедший в класс с небольшим ящичком в руках. Все сразу затихли и повернули к нему головы. Грузов вертел ящик перед глазами сидевших в первом ряду и продолжал кричать тоном аукциониста:

— Ну, кто же хочет, ребята? По случаю, по случаю... Ей-богу, если бы не нужны были деньги, не продал бы. А то весь табак вышел, не на что купить нового. Волшебный фонарь с лампочкой и с двенадцатью зам-мечательными картинка-

ми… Новый стоил восемь рублей… Ну? Кто же покупает, братцы?

Долговязый Бринкен поднялся со своего места и потянулся к фонарю.

— Покажи-ка…

— Чего покажи? Смотри из рук.

— Ну, хоть из рук… а то в ящике-то не видно… Может быть, что-нибудь сломано…

Грузов снял крышку. Бринкен стал осматривать фонарь настолько внимательно, насколько это ему позволяли руки Грузова, крепко державшие ящик.

— Трубка-то… треснула, — заметил немец деловитым тоном.

— Треснула, треснула! Много ты понимаешь, немец, перец, колбаса, купил лошадь без хвоста. Просто распаялась чуть-чуть по шву. Отдай слесарю — за пятачок поправит.

Бринкен заботливо постучал грязным ногтем по жестяной стенке фонаря и спросил:

— А сколько?

— Три.

— Рубля?

— А ты, может быть, думал — копейки? Ишь ловкий, колбасник!

— Н-нет, я не думал… я так просто… Больно

дорого. Давай лучше меняться. Хочешь?

Мена вообще была актом весьма распространенным в гимназической среде, особенно в младших классах.

Менялись вещами, книжками, гостинцами, причем относительная стоимость предметов мены определялась полюбовно обеими сторонами. Нередко меновыми единицами служили металлические пуговицы, но не простые, гимназические, а тяжелые, накладные — буховские, первого и второго сорта, причем пуговицы с орлами ценились вдвое, или стальные перышки (и те и другие употреблялись для игры). Также меняли вещи — кроме казенных — на булки, на котлеты и на третье блюдо обеда. Между прочим, мена требовала соблюдения некоторых обрядностей. Нужно было, чтобы договаривающиеся стороны непременно взялись за руки, а третье, специально для этого приглашенное лицо разнимало их, произнося обычную фразу, освященную многими десятилетиями:

Чур, мена —
Без размена,
Чур, с разъемщика не брать,
А разъемщику давать.

Своеобразный опыт показывал, что присутствие при мене одних простых свидетелей иногда оказывалось недостаточным, если при ней не было разъемщика. Недобросовестный всегда мог отговориться:

— А нас разнимал кто-нибудь?

— Нет, но были свидетели, — возражал другой менявшийся.

— Свидетели не считаются, — отрезывал первый, и его довод совершенно исчерпывал вопрос — дальше уже следовала рукопашная схватка.

— Ну, что ж? Будешь меняться? — приставал Бринкен.

Пальцы Грузова сложились в символический знак и приблизились вплоть к длинному носу остзейца.

— На-ка-сь, выкуси.

— Я тебе дам банку килек и перочинный ножичек, — торговался Бринкен, отворачивая в то же время голову от грузовского кукиша и отводя его от себя рукой.

— Проваливай!

— И три десятка пуговиц. Все накладные и из них четырнадцать гербовых.

— А ну тебя к черту, перец. Отвяжись.

— И шесть булок.

— Пошел к черту…

— Утренних булок. Ведь не вечерних, а утренних.

— Полезь еще, пока я тебе в морду не дал! — вдруг свирепо обернулся к нему Грузов. — Брысь, колбасник!.. Ну, молодежь, кто покупает? За два с полтиной отдаю, так и быть…

Новички молчали, но по их горящим глазам видно было, каким высоким счастьем казалось им обладание редкой игрушкой.

— Ну, последнее слово, ребята, — два целковых! — крикнул Грузов, подымая высоко над головой футляр и вертя им. — Самому дороже… Ну — раз! два!

В это время его глаза встретились с напряженным взглядом Буланина.

— А-а! Буланка! — кивнул ему головой Грузов. — Покупай фонарь, Буланушка.

Буланин смутился.

— Я бы с радостью… только…

— Что только? Денег нет? Да я сейчас и не требую. В отпуск пойдешь?

— Да.

— Вот и возьми у родных. Эки деньги — два рубля! Небось, два-то рубля тебе дадут? А? Дадут два рубля, Буланка?

Буланин и сам не мог бы сказать: дадут ему дома два рубля или нет. Но соблазн приобрести фонарь был так велик, что ему показалось, будто достать два рубля самое пустое дело. «Ну, у сестер добуду, что ли, если мама не даст… Вывернусь как-нибудь», — успокаивал он последние сомнения.

— Дома дадут. Дома мне непременно дадут, только…

— Ну вот и покупай, и прекрасно, — сунул ему Грузов в руки ящик. — Твой фонарь — владей, Фаддей, моей Маланьей! Дешево отдаю, да уж очень ты мне, Буланка, понравился. А вы, братцы, — обратился он к новичкам, — вы, братцы, смотрите, будьте свидетелями, что Буланка мне должен два рубля. Ну, чур, мена без размена… Слышите? Ты, гляди, не вздумай надуть, — нагнулся он внушительно к Буланину. — Отдашь деньги-то?

— Ну вот. Конечно, отдам.

— Забожись.

— Вот ей-богу, отдам, честное слово…

— Ладно… А то у нас знаешь как.

И, поднеся к лицу Буланина кулак, Грузов повернулся на каблуках и выплыл из отделения своей шатающейся походкой.

Нового хозяина фонаря тотчас же окружили

товарищи. Со всех сторон потянулись жадные руки.

— А ну-ка, покажи фонарь, Буланка. Чего же ты его прячешь? Буланушка, дай посмотреть.

Фонарь стал переходить из рук в руки, вызывая то Завистливые, то деловые, то восторженные, то критические замечания. В общем, однако, игрушка большинству очень понравилась: она обещала в будущем всему отделению много забавных минут. Но сам Буланин, следивший ревнивыми глазами за фонарем, находившимся в чужих руках, в то же время не ощущал в себе ожидаемой радости, — в руках Грузова, издали, фонарь казался гораздо заманчивее и красивее.

— Ты смотри, Буланка, — посоветовал Сельский, разглядывая на свет картинку, нарисованную на стеклянной пластинке, — смотри, деньги-то непременно принеси.

— Конечно, конечно, принесу.

— Смотри же… а то…

— А то что? — спросил шепотом Буланин, и его сердце сжалось от неясного предчувствия.

— Бить будет, — сказал Сельский также шепотом. — Ты его не знаешь… Он отчаянный. Если не надеешься достать денег, лучше уж поди к нему в переменку и отдай назад фонарь.

— Нет, нет… зачем же? Я отдам… Что ж… — залепетал Буланин упавшим голосом.

После слов Сельского он сразу и окончательно охладел к своей покупке.

«И зачем мне было покупать этот фонарь? — думал он с бесполезной досадой. — Ну, пересмотрю я все картинки, а дальше что же? Во второй раз даже и неинтересно будет. Да и даст ли мама два рубля? Два рубля! Целых два рубля! А вдруг она рассердится, да и скажет: знать ничего не знаю, разделывайся сам, как хочешь. Эх, дернуло же меня сунуться!»

Пришел батюшка. В обоих отделениях первого класса учил не свой, гимназический священник, а из посторонней церкви, по фамилии Пещерский. А настоятелем гимназической церкви был отец Михаил, маленький, седенький, голубоглазый старичок, похожий на Николая-угодника, человек отменной доброты и душевной нежности, заступник и ходатай перед директором за провинившихся почти единственное лицо, о котором Буланин вынес из стен корпуса светлое воспоминание.

Пещерский, собственно, даже и не был священником, а только дьяконом, но его все равно величали «батюшкой». Это был гигант, весь ушед-

ший в гриву черных волос и в густую, огромную бородищу, причем капризная судьба, точно на смех, дала ему вместо крепкого баса тоненький, гнусавый и дребезжащий дискант. Вокруг его темных глаз — больших, красивых, влажных и бессмысленных — всегда лежали маслянистые коричневые круги, что придавало его лицу подозрительный оттенок не то елейности, не то разврата. Про силу Пещерского в гимназии ходило множество легенд. Говорили, что очень часто массивные дубовые стулья не выдерживали тяжести его огромного тела и ломались под ним. Рассказывали также, что в старших классах, говоря о различных дарах, ниспосылаемых небом человеку, он прибавлял: «Внимайте, юноши, с усердием слову божию, и вы будете так же щедро взысканы, как и я». И будто бы при этих словах, Пещерский вытаскивал из кармана медный пятак и тут же, на глазах изумленной аудитории, свертывал его в трубочку.

Но чем уж действительно его господь не взыскал, так это красноречием. Объяснял он свой предмет медленно, тягуче, скучно, с бесконечным «гм…» и «эге…», с повторениями одного и того же слова. Под его монотонное пиликанье невольно слипались глаза и голова сама собой опускалась

на грудь, особенно если урок происходил после завтрака. Воспитанники его не любили, несмотря даже на его легендарную силу, которая в гимназии ценилась выше всех даров, ниспосылаемых небом человеку. В нем чувствовался лицемер. Он ставил хорошие отметки, но часто жаловался на воспитанников инспектору. Кроме того, он «за всякую малость» записывал провинившихся в классный журнал, что исполнял каллиграфическим почерком, очень многословно и витиевато. Однажды он записал Буланина за «кощунство, свиноподобие и строптивость». Свиноподобие заключалось в невычищенных сапогах, строптивость — в незнании урока, а кощунство — в том, что кто-то из отделения назвал Пещерского «Козлом», — кто именно, осталось неизвестным.

На этот раз урок казался Буланину особенно длинным. Только что приобретенный фонарь не давал ему покоя.

«А что будет, если мама не даст двух рублей? Тогда уже, наверное, одними маслянками не отделаешься, — размышлял Буланин. — Да, наконец, как я решусь сказать ей о своей покупке? Конечно, она огорчится. Она и без того часто говорит, что средства у нас уменьшаются, что имение ничего не приносит, что одной пенсии

не хватает на такую большую семью, что надо беречь каждую копейку и так далее. Нет, уж лучше послушаться совета Сельского и отвязаться от этого проклятого фонаря».

Но вдруг, точно искра, блеснуло в голове Буланина тревожное опасение, и даже сердце у него заекало от испуга… А что, если его испортили, передавая из рук в руки? Вдруг растащили картинки или погнули что-нибудь? Тогда Грузов обратно ни за что уже не примет…

Он поспешно, дрожащими руками, поднял крышку своего столика и, поддерживая его головой, стал осматривать фонарь.

Нет, все в порядке… Трубка немного расходится по спаю, но это так и было… все слышали, на все отделение можно сослаться… И картинки все в целости — двенадцать штук… Вот еще лампочку надо осмотреть.

— Что это вы там у себя в столике делаете? — вдруг услышал Буланин тоненький голос Пещерского.

Он вздрогнул и быстро опустил крышку. Козел медленно подходил к нему с самым ласковым выражением лица, то собирая в кулак свою густую бороду, то распуская ее веером.

— Я… я… ничего… Я ничего не делаю… право,

ничего, — залепетал Буланин.

— Что у вас там?.. Покажите, — сказал Козел, делая внезапно строгие и мутные глаза и кивком головы указывая на парту.

— Право же, ничего, батюшка! Ей-богу, ничего… Я просто… я книжку искал.

Бормоча эти несвязные слова, Буланин крепко держался за края крышки, но Козел с настойчивым, хотя и мягким усилием потянул ее вверх и вытащил волшебный фонарь.

— Так это вы говорите — ничего? А еще божитесь! Божиться вообще нехорошо, а для прикрытия лжи и подавно… Я вам здесь слово божие объясняю, а вы в игрушечки играетесь. Нехорошо. Очень нехорошо… Очень, очень нехорошо.

— Батюшка, позвольте… отдайте… Батюшка, Я никогда не буду больше… Отдайте, пожалуйста, — взмолился Буланин.

— Сын мой, — произнес Козел, делая вдруг свой голос необыкновенно нежным, и его влажные глаза опять стали кроткими, — сын мой, я с удовольствием отдал бы вам вашу… вашу штучку… она мне ни на что не нужна, но… — на этом «но» Козел повысил голос и прижал ладони к груди, — но, подумайте сами, имею ли я право это сделать? Могу ли я скрывать ваши дурные поступки от

лиц, коим непосредственно вверено ваше воспитание? Нет! — Он широким жестом развел руки и с негодованием затряс бородой. — Я не могу принять этого на свою совесть, положительно не могу… нет, нет, и не просите… не могу-с…

В зале резко и весело прозвучала труба, играющая отбой.[2] Воспитанники высыпали из всех четырех отделений шумной, беспорядочной гурьбой. В течение десяти минут «переменки», полагавшейся между двумя уроками, надо было успеть и напиться, и покурить, и сыграть целую партию в пуговки, и подзубрить урок. Густая толпа обступила большую медную, с тремя кранами, вазу, наполненную водой. Около этой вазы всегда была привязана на цепи тяжелая оловянная кружка, но ею обыкновенно никто не пользовался. Каждый нагибался к одному из кранов, брал его в рот и, напившись таким образом, уступал свое место следующему. Второклассники, наполнив «капернаум» и разбившись там на кучки, курили под прикрытием сторожа, поставленного у дверей.

Буланин не выходил из отделения. Он стоял у окна, заделанного решеткой, и рассеянно, с

[2] Примечания: 2

Перед каждым уроком горнист или барабанщик играл сбор, а после урока отбой.

стесненным сердцем глядел на огромное военное поле, едва покрытое скудной желтой травой, и на дальнюю рощу, видневшуюся неясной полосой сквозь серую пелену августовского дождя. Вдруг кто-то закричал в дверях:

— Буланин! Здесь нет Буланина?

— Здесь. Что нужно? — обернулся тот.

— Ступай скорее в дежурную. Петух зовет.

— Батюшка нажаловался?

— Не знаю. Должно быть. Они между собой что-то разговаривают. Иди скорее!

Когда Буланин явился в дежурную, то Петух и Козел одновременно встретили его, покачивая головами: Петух кивал головой сверху вниз и довольно быстро, что придавало его жестам укоризненный и недовольный оттенок, а Козел покачивал слева направо и очень медленно, с выражением грустного сожаления. Эта мимическая сцена продолжалась минуты две или три. Буланин стоял, переводя глаза с одного на другого.

— Стыдно-с… совестно… Мне за вас совестно, — заговорил наконец Петух. — Так-то вы начинаете учение? На уроке закона божия вы… как бы сказать… развлекаетесь… игрушечками занимаетесь. Вместо того чтобы ловить каждое слово и… как бы сказать… запечатлевать его в

уме, вы предаетесь пагубным забавам… Что же будет с вами дальше, если вы уже теперь… э… как бы сказать… так небрежно относитесь к вашим обязанностям?

— Нехорошо. Очень нехорошо, — подтвердил Козел, упирая на «о».

«Не пустит в отпуск», — решил в уме Буланин, и Петух, как бы угадывая его мысль, продолжал:

— Собственно говоря, я вас должен без отпуска оставить…

— Господи-ин капитан! — жалобно протянул Буланин.

— То-то вот — господин капитан. На первый раз я уж, так и быть, не стану лишать вас отпуска… Но если еще раз что-либо подобное — помните, в журнал запишу-с, взыскание наложу-с, под арест посажу-с… Ступайте!..

— Господи-ин капитан, позвольте мой фонарь.

— Нет-с. Фонаря вы более не получите. Сейчас же Я прикажу дядьке его сломать и бросить в помойную яму. Идите.

— Я-к Як-лич, пожалуйста… — просил Буланин со слезами в голосе.

— Нет-с и нет-с. Идите. Или вы желаете (тут Петух сделал голос строже), чтобы я действительно… как бы сказать… оставил вас на праздник в

гимназии? Ступайте-с.

Буланин ушел. Справедливость требует сказать, что Петух не сдержал своего слова относительно фонаря. Четыре года спустя Буланину по какому-то делу пришлось зайти на квартиру Якова Яковлевича. Там, в углу гостиной, была свалена целая горка игрушек, принадлежащих маленькому Карлуще — единственному чаду Петуха, — и среди них Буланин без труда узнал свой злополучный фонарь. Он содержался в образцовом порядке и, по-видимому, мог рассчитывать на почтенную долговечность в бережливом немецком семействе. Но сколько горьких, ужасных впечатлений вызвал тогда в отроческой памяти Буланина вид этого невинного предмета!..

Шестой урок в этот день был настоящей пыткой для новичков. Они совершенно не могли усидеть на месте, поминутно вертелись и то и дело с страстным ожиданием оглядывались на дверь. Глаза взволнованно блестели, пальцы одной руки нервно мяли пальцы другой, ноги под столом выбивали нетерпеливую дробь. Со всех сторон вопрошающие лица обращались к лопоухому Страхову, сидевшему на задней скамейке (у него одного во всем отделении были часы, вообще запрещенные в гимназии), и Страхов,

подымая вверх растопыренные пятерни и махая ими, показывал, сколько еще минут осталось до трех часов.

Общее волнение до такой степени сообщилось Буланину, что он даже позабыл о несчастном фонаре и о связанных с ним грядущих неприятностях. Он, так же как и другие, суетливо болтал ногами, тискал ладонями лицо и судорожно ерошил на голове волосы, чувствуя, как у него в груди замирает что-то такое сладкое и немного жуткое, от чего хочется потянуться или запеть во все горло.

Но вот раздаются звуки отбоя, все вскакивают с мест, точно подброшенные электрическим током. Как бы ни был строг и педантичен преподаватель, как бы ни был важен объясняемый им урок, у него не хватит духу испытывать в эту минуту выдержку учеников. «Благодарим тебе, создателю», — читает на ходу, с трудом пробираясь между скамейками, Сельский, но никому даже и в голову не придет перекреститься… С хлопаньем открываются и закрываются пюпитры, увязываются веревками книги и тетради, которые нужно взять с собою, а ненужные, как попало, швыряются и втискиваются в ящик.

Молитва кончена. Двадцать человек летят

сломя голову к дверям, едва не сбивая с ног преподавателя, который с снисходительной, но несколько боязливой улыбкой жмется к стене Из всех четырех отделений одновременно вырываются эти живые, неудержимые потоки, сливаются, перемешиваются, и сотня мальчишек мчится, как стадо молодых здоровых животных, выпущенных из тесных клеток на волю.

Прибежать в спальню, надеть мундир, шинель и кепи, разложенные Четухою заранее по кроватям отпускных, — дело одной минуты. Теперь остается пойти в «дежурную», где уже сидят все четыре воспитателя, и «явиться» Петуху.

— Господин капитан, честь имею…

— А почему у вас пуговицы не почищены?

Ах, эти проклятые пуговицы! Опять нужно бежать в спальню, оттуда в умывалку. Там на доске всегда лежат два больших красных кирпича.

Буланин быстро и крепко трет их один о другой, потом обмакивает мякоть ладони в порошок и так торопливо чистит пуговицы, что обжигает на руке кожу. Большой палец делается черным от меди и кирпича, но мыться некогда, можно и после успеть…

— Господин капитан, честь имею явиться. Воспитанник первого класса, второго отделения,

Бу…

— А-а! Почистились? Хорошо-с. А за вами пришли или прислали кого-нибудь?

О господи, опять ожидание — вот мука!

В чайную залу, примыкающую к дежурной, то и дело выходят снизу из приемной дядьки и громогласно вызывают воспитанников:

— Свергин, Егоров, пожалуйте, за вами приехали; Бахтинский — в приемную!

«Неужели обо мне забыли дома? — шепчет в тревоге Буланин, но тотчас же пугается своей мысли. — Нет, нет, этого быть не может: мама знает, мама сама соскучилась… Ну, вот, идет снова дядька… Теперь уж, наверно, меня».

Сердце Буланина от ожидания бьется в груди до боли.

— За Лампарёвым приехали, — возвещает дядька равнодушным голосом, и это равнодушие кажется Буланину оскорбительным, почти умышленным.

«Это он нарочно так… видит ведь, как мне неприятно, и нарочно делает».

Наконец нервное напряжение начинает ослабевать. Его заменяют усталость и скука. В шинели становится жарко, воротник давит шею, крючки режут горло… Хочется сесть и сидеть, не повора-

чивая головы, точно на вокзале.

«Все кончено, все кончено, — с горечью думает Буланин, — я самый несчастный мальчик в мире, всеми забытый и никому не нужный…»

Досадные слезы просятся на глаза. Дядька выкликивает все новые и новые фамилии, но появление его уже не вызывает нетерпеливого подъема всех чувств: Буланин смотрит на него мутными, неподвижными и злобными глазами.

И вот, — как это всегда бывает, если ждешь чего-нибудь особенно страстно, — в ту самую минуту, когда Буланин уже собирается идти в спальню, чтобы снять отпускную форму, когда в его душе подымается тяжелая, удручающая злость против всего мира: против Петуха, против Грузова, против батюшки, даже против матери, — в эту самую минуту дядька, от которого Буланин нарочно отворачивается, кричит на всю залу:

— За Булаиным приехали! Просят поскорее одеваться!

И уж на этот раз голос дядьки кажется Буланину не умышленно равнодушным, а веселым, сочувственным, даже радостным.

IV

Триумф Буланина. — Герои гимназии. — Пари. — Мальчишка-сапожник. — Честь. — Опять герои. — Фотография. — Уныние. — Несколько нежных сцен. — На шарап! Куча мала! — Возмездие. — Попрошайки.

Отпуск был великолепен. Кепи, надетое набекрень, и черная военная шинель внакидку привлекали на улице всеобщее внимание. Все, положительно все: и те, что ехали на извозчиках, и пешеходы, и пассажиры конок — с почтительным любопытством и радостным изумлением глядели на Буланина (во всяком случае, ему так казалось). В их взглядах он каждый раз читал безмолвное восклицание: «Посмотрите, посмотрите — военный гимназист!.. Удивительно — такой молодой и уже носит военный мундир. Ведь у них, говорят, ужасная строгость, и даже учат маршировать с настоящими ружьями».

Дома, перед младшей сестрой, а в особенности перед восьмилетним Васенькой, Буланин старательно выдерживал внешнее достоинство и несколько суровый тон молодчинищи-старичка.

Когда Васенька, прельщенный видом золотых галунов, хотел их потрогать немного пальцем, старший брат заметил ему недовольным басом:

— Отстань! Чего лезешь? Испортишь мундир, а мне после достанется. «Каптенармус» нового ни за что не выдаст.

Эти новые технические слова, вроде как «каптенармус», «ранжир», «правый фланг», «горнист» и тому подобные, он особенно часто иной раз без всякого повода, но с очень небрежным видом вставлял в свой разговор, чем Зина и Васенька были окончательно подавлены. Он рассказал им также и про Грузова и про его изумительную силу (ведь вечер воскресенья был еще так далеко!), и понятно, что в доверчивых, порабощенных умах слушателей фигура Грузова приняла размеры какого-то мифического чудовища, чего-то вроде Соловья Разбойника, «с такими вот» — чуть ли не с человеческую голову величиной кулаками.

— Это что еще! — продолжал Буланин удивлять свою маленькую аудиторию, и без того вытаращившую глазенки и разинувшую рты. — Это еще что-о! А вот у нас есть воспитанник Солянка, — его, собственно, фамилия Красногорский, но у нас его прозвали Солянкой, — так он однажды на пари съел десять булок. Понимаете ли,

малыши: десять французских булок! И ничем не запивал! А!

— Десять булок! — повторили шепотом малыши и переглянулись почти в ужасе.

— Да, и выиграл пари. А другой — Трофимов — поспорил на двадцать завтраков, что он три недели ничего не будет есть… И не ел… Ни одного кусочка не ел.

Буланин, в сущности, только лишь слегка преувеличивал цифры в своих поразительных рассказах. Подобные пари были в гимназической жизни явлением обычным и предпринимались исключительно из молодечества. Один спорил, что он в течение двух дней напишет все числа от 1 до 1 000 000, другой брался выкурить подряд и непременно затягиваясь всей грудью, пятнадцать папирос, третий ел сырую рыбу или улиток и пил чернила, четвертый хвастал, что продержит руку над лампой, пока досчитает до тридцати… Порождались эти пари мертвящей скукой будничных дней, отсутствием книг и развлечений, а также полнейшим равнодушием воспитателей к тому, чем заняты вверенные их надзору молодые умы. Спорили обыкновенно на десятки, иногда даже на сотни утренних и вечерних булок, на котлеты, на третье блюдо, реже на гостинцы и деньги. За

исходом такого пари весь возраст следил с живейшим интересом и не позволял мошенничать.

Мать Буланина была в полном упоении, — в том святом и эгоистическом упоении, которое овладевает всякой матерью, когда она впервые видит своего сына в какой бы то ни было форме, и к которому примешивается доля горделивого и недоверчивого удивления. «Как? Это *мой* сын? — говорит каждый их красноречивый взгляд. — Это-то и есть то самое странное существо, что когда-то жадно сосало мою грудь и прыгало босыми ножонками на моих коленях? И неужели именно его я вижу теперь одетым в форму, почти членом общества, почти мужчиной?»

— Ах ты, мой кадет! Ах ты, кадетик мой милый! — поминутно говорила Аглая Федоровна, крепко прижимая голову сына к своей груди.

При этом она даже закрывала глаза и стискивала зубы, охваченная той самой внезапной, порывистой страстью, которая неудержимо заставляет молодых матерей так ожесточенно целовать, тискать, душить, почти кусать своих новорожденных ребят.

А Буланин сурово мотал головой и отпихивался.

В воскресенье утром она повезла его в институт,

где учились ее старшие дочери, потом к теткам на Дворянскую улицу, потом к своей пансионской подруге, madame Гирчич. Буланина называли «его превосходительством», «воином», «героем» и «будущим Скобелевым».[3] Он же краснел от удовольствия и стыда и с грубой поспешностью вырывался из родственных объятий.

Точно так же, как и вчера, все, кого только Буланин ни встречал на улицах, были приятно поражены видом новоиспеченного гимназиста. Буланин ни на секунду не усомнился в том, что весь мир занят теперь исключительно ликованием по поводу его поступления в гимназию. И только однажды это триумфаторское шествие было несколько смущено, когда на повороте в какую-то улицу из ворот большого дома выскочил перепачканный сажей мальчишка-сапожник с колодками под мышкой и, промчавшись стрелой между Буланиным и его матерью, заорал на всю улицу:

— Кадет, кадет, на палочку надет!..

Погнаться за ним было невозможно — гимназисту на улице приличествует «солидность» и серьезные манеры, — иначе дерзкий, без сомне-

---

[3] Примечания: 3

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) — видный русский военный деятель, участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

ния, получил бы жестокое возмездие. Впрочем, самолюбие Буланина тотчас же получило приятное удовлетворение, потому что мимо проезжал генерал. Этого случая Буланин жаждал всей душою: ему еще ни разу до сих пор не довелось стать во фрунт.

Он с истинным наслаждением занимался отдаванием чести. Не за четыре законных, а по крайней мере за пятнадцать шагов, он прикладывал руку к козырьку, высоко задирая кверху локоть, и таращил на офицера сияющие глаза, в которых ясно можно было прочесть испуг, радость и нетерпеливое ожидание. Каждый раз, проделав эту церемонию и получив в ответ от улыбающегося офицера масонский знак, Буланин слегка лишь косился на мать, а сам принимал такой деловой, озабоченный, даже как будто бы усталый вид, точно он только что окончил весьма трудную и сложную, хотя и привычную обязанность, не понятную для посторонних, но требующую от исполнителя особенных глубоких знаний. И так как он был совсем еще неопытен в разбирании погонов и петличек, то с одинаковым удовольствием отдавал честь и фельдфебелям и акцизным чиновникам, а один раз даже козырнул казачьему денщику, несшему судки с

офицерским обедом, на что денщик тотчас же ответил без малейшего знака смущения, но чрезвычайно вежливо, переложив судки из правой руки в левую.

Случилось так, что мать дернула его за рукав и тревожно шепнула:

— Миша, Миша, смотри, ты прозевал офицера (она испытывала при этих встречах совершенно те же наивные гордые и приятные ощущения, как и ее сын).

Буланин отозвался презрительным басом:

— Ну вот! Стоит о всяком офицеришке заботиться. Наверно, только что произведенный.

Он, конечно, слегка важничал перед матерью, бравируя своей смелостью и просто-напросто повторяя грубоватое выражение, слышанное им от старых гимназистов. У старичков, особенно «у отчаянных», считалось особенным шиком не отдать офицеру чести, даже, если можно, сопроводить этот поступок какой-нибудь дикой выходкой.

— Как я его здорово надул! — рассказывал часто какой-нибудь Грузов или Балкашин. — Прохожу мимо — нуль внимания и фунт презрения. Он мне кричит; «Господин гимназист, пожалуйте сюда». А я думаю себе: «Нака-сь, выкуси». Ходу! Он

за мной. Я от него. Он вскакивает на извозчика. «Ну, думаю: дело мое табак, поймает». Вдруг вижу сквозные ворота, моментально — шмыг! и калитку на запор… Покамест он стоял там да ругался, да дворника звал, я давно уж удрать успел.

В тот же день Аглая Федоровна повела сына в фотографию. Нечего и говорить о том, что фотограф был несказанно поражен и обрадован честью сделать снимок с такого великолепного гимназиста. После долгих совещаний решили снять Буланина во весь рост: правой рукой он должен опираться на колонну, а в левой, опущенной вниз, держать кепи. Во все время сеанса Буланин был полон неподражаемой важности, хотя справедливость требует отметить тот факт, что впоследствии, когда фотография была окончательно готова, то все двенадцать карточек могли служить наглядным доказательством того, что великолепный гимназист и будущий Скобелев не умел еще как следует застегнуть своих панталон.

За обедом были исключительно блюда, любимые Мишенькой, но виновник торжества, казалось, навеки потерял свой доселе непобедимый аппетит… Он уже чувствовал, что мало-помалу приближается конец отпуска, и перед ним вста-

вало арестантское лицо Грузова — клыкастое, желтое и грубое, его энергично сжатый кулак и зловещая угроза, произнесенная сиплым голосом: «А то… у нас знаешь как!..»

По мере того как стрелка стенных часов приближалась к семи, возрастала тоска Буланина, прямо какая-то животная тоска — неопределенная, боязливая, низменная и томительная. После обеда Зина села за рояль разучивать свои экзерсисы. Из-под ее неуверенных пальчиков потянулись, бесконечно повторяясь все снова и снова, скучные гаммы. Мутные сумерки вползли в окна и сгустились по дальним углам… Нервы Буланина не выдержали, и он, забыв все свое утреннее мужество, горько заплакал, уткнувшись лицом в жесткую и холодную спинку кожаного дивана.

— Миша, отчего ты? Что с тобой, Мишенька? — спросила, подбежав к нему, встревоженная Аглая Федоровна.

Момент был очень благоприятный, и Буланин это чувствовал. Теперь бы и следовало рассказать откровенно все приключение с волшебным фонарем, но странная, стыдливая робость сковала его язык, и он только пробормотал, возя носом:

— Так себе… мне тебя жалко, мамочка…

В половине седьмого он и Аглая Федоровна ста-

ли собираться. В старую салфетку были завязаны гостинцы: десяток яблоков, несколько домашних сдобных лепешек и банка малинового варенья.

— Смотри, Миша, — внушала мать, — варенье понемножку кушай… с чаем… вот тебе и хватит на целую неделю… Товарищам дай по ложечке, пусть и они попробуют…

Затем она вписала в готовом тексте отпускного билета, что «кадет… *Буланин*… в течение отпуска находился… *у меня* и вел себя… *очень хорошо*. Подпись родителей или лиц, их заменяющих… *А. Буланина*».

Ехать пришлось через весь город. И мать и сын дорогой молчали, охваченные одним и тем же чувством уныния. Чем ближе они подъезжали к гимназии, тем пустыннее становилась местность… Уже совершенно стемнело, когда они переехали через каменный мост, под которым узкой лентой извивалась зловонная речка; в ней дрожали, расплываясь, отражения уличных фонарей. Потом по обеим сторонам мостовой потянулись длинные, низкие, однообразные казармы с неосвещенными окнами. Вот, наконец, и огромное трехэтажное здание гимназии, бывший кадетский корпус, а еще раньше — дворец екатерининского вельможи. Дальше уже нет ни одной

городской постройки, кроме военной тюрьмы; ее огни едва мерцают далеко-далеко на краю военного поля, которое теперь кажется чернее ночи.

У крыльца Аглая Федоровна долго крестила и целовала сына. Но так как к тому же подъезду ежеминутно подъезжали и подходили отпускные гимназисты, то в Буланине вдруг заговорил ложный стыд: сцена могла показаться чересчур нежной, может быть, даже смешной, во всяком случае, не в духе гимназического молодечества. Весь проникнутый жалостливой любовью к матери и болью своего близкого одиночества, он тем не менее сурово, почти грубо освободил шею от ее рук. Когда же она вдогонку ему крикнула, чтобы он был прилежней, слушался воспитателей и «в случае чего-нибудь» немедленно писал (на что ему были уже даны конверты с заранее написанными адресами и с приклеенными марками), он, скрываясь в дверях, буркнул:

— Хорошо… Ладно, ладно…

Но он все-таки успел заметить, как мать крестила его вслед мелкими, частыми крестами.

Он медленно взбирался на третий этаж по грязной чугунной сквозной лестнице, слабо освещенной стенными лампами, и ему казалось, что он вдруг осиротел, сделался снова маленьким,

беспомощным мальчиком. Все его мысли были там, внизу около покинутой им матери.

«Вот она села в пролетку, вот извозчик круто заворачивает лошадь назад, вот, подъезжая к углу, мама бросает последний взгляд на подъезд», — думал Буланин, глотая слезы, и все-таки ступенька за ступенькой подымался вверх.

Но на верхней площадке его тоска возросла до такой нестерпимой боли, что он вдруг, сам не сознавая, что делает, опрометью побежал вниз. В одну минуту он уже был на крыльце. Он ни на что не надеялся, ни о чем не думал, но он вовсе не удивился, а только странно обрадовался, когда увидел свою мать на том же самом месте, где за несколько минут ее оставил. И на этот раз мать должна была первой освободиться из лихорадочных объятий сына.

Наконец он «явился» к дежурному воспитателю (в каждом возрасте дежурили по очереди свои воспитатели), который осмотрел очень тщательно его узелок. Так как вечерняя молитва уже кончилась, то отпускные из дежурной шли прямо в спальню.

Там, у самых дверей, их дожидалось человек двенадцать второклассников. На Буланина, едва только он вошел со своим белым узелком, эта

орава накинулась, как стая голодных волков.

— Новичок, угости! Новичок, поделись! Дай гостинчика, Буланка!..

И все руки тянулись к узелку, сталкиваясь и цепляясь одна за другую. Каждый старался протиснуться вперед и отпихивал плечом мешавшего товарища.

— Господа… да позвольте же… я сейчас, — бормотал растерянный, оглушенный Буланин, — я сейчас… только… пустите же… я не могу всего…

Он поспешно развязал узелок, стараясь увернуться от хищных рук, вырывавших его, и сунул в чью-то руку яблоко. Но в это время на всю копошащуюся вокруг Буланина массу налетел какой-то огромный рыжий малый и закричал неистовым голосом:

— На шарап!

В ту же секунду белый узелок, подброшенный снизу сильным ударом, взвился на воздух. Яблоки и лепешки разлетелись из него во все стороны, точно из лопнувшей ракеты, а банка с вареньем треснула, ударившись об стену. Свалка тотчас же закипела на полу, в темноте слабо освещенной спальни. Старички на четвереньках гонялись за катящимися по паркету яблоками, вырывая их один у другого из рук и изо рта; некоторые немед-

ленно вступили врукопашную. Кто-то наткнулся на разбитую банку с вареньем, поднял ее и, запрокинув голову назад, лил варенье прямо в свой широко раскрытый рот. Другой заметил это и стал вырывать. Банка окончательно разбилась в их руках; оба обрезались до крови, но, не обращая на это внимания, принялись тузить друг друга.

На шум общей свалки прибежало еще трое старичков. Однако они быстро сообразили, что пришли слишком поздно, и тогда один из них, чтобы хоть немного вознаградить себя за лишение, крикнул:

— Куча мала, ребята!..

Произошло что-то невообразимое. Верхние навалились на нижних, нижние рухнули на пол и делали судорожные движения руками и ногами, чтобы выбраться из этой кутерьмы. Те, кому это удавалось, в свою очередь, карабкались на самый верх «мала-кучи». Некоторые хохотали, другие задыхались под тяжестью давивших их тел, ругались, как ломовые извозчики, плакали и в остервенении кусали и царапали первое, что им попадалось, — все равно, будь это рука или нога, живот или лицо неизвестного врага.

Повергнутый сильным толчком на землю, Буланин почувствовал, как чье-то колено с силою

уперлось в его шею. Он пробовал освободиться, но то же самое колено втиснуло его рот и нос в чей-то мягкий живот, в то время как на его спине барахтались еще десятки рук и ног. Недостаток воздуха вдруг придал Буланину припадочную силу. Ударив кулаком в лицо одного соседа и схватившись за волосы другого, он рванулся и выскочил из кучи.

Он не успел еще подойти к своей кровати, как его окликнули:

— А! Буланка! А ну-ка, иди сюда.

Это был Грузов. Буланин сразу узнал его голос и почувствовал, что бледнеет и что у него задрожали колени. Однако он подошел к Грузову, стоявшему в амбразуре окна и раздиравшему зубами половину курицы.

— Принес? — лаконически спросил Грузов, вытирая руки о грудь пиджака.

— Голубчик… ей-богу, не мог, — жалобно забормотал Буланин. — Ну, вот честное, благородное слово, никак не мог. В следующее воскресенье уж непременно принесу… непременно…

— Отчего же ты не мог сегодня? Отжилить хочешь, подлец? Давай назад фонарь…

— У меня его нет, — прошептал Буланин. — Петух отобрал… я…

Он не успел договорить. Из его правого глаза брызнул целый сноп ослепительно белых искр… Оглушенный ударом грузовского кулака, Буланин сначала зашатался на месте, ничего не понимая. Потом он закрыл лицо руками и зарыдал.

— Слышишь, чтобы в следующий раз ты мне или фонарь возвратил, или принес деньги. Только уж теперь не два, а два с полтиной, — сказал Грузов, опять принимаясь за курицу. — У тебя есть гостинцы-то по крайней мере?

— Нет… были яблоки и лепешки… и банка малинового варенья была… Я хотел все тебе отдать, — невольно солгал Буланин, — да у меня их сейчас только отняли старички…

— Эх, ты!.. — протянул Грузов презрительно, и вдруг, с мгновенно озверевшим лицом, ударив изо всех сил Буланина по затылку, он крикнул: Убирайся ты к черту, жулябия! Ну… живо!.. Чтобы я тебя здесь больше не видел, турецкая морда!..

До глубокой ночи шныряли старички между кроватями первоклассников, подслушивая и подглядывая, не едят ли они что-нибудь тайком. Некоторые действовали партиями, другие — в одиночку. Если новичок отказывался «угостить», то его вещи, шкафчик, кровать и его самого подвергали тщательному обыску, наказывая за

сопротивление тумаками.

У своих одноклассников они хотя и не отнимали лакомств, но выпрашивали их со всевозможными унижениями, самым подлым, нищенским тоном, с обилием уменьшительных и ласкательных словечек, припоминая тут же какие-то старые счеты по поводу каких-то кусочков.

Буланин уже лежит под одеялом, когда над его головой останавливаются двое второклассников. Один из них называется Арапом (фамилии его Буланин не знал). Он, громко чавкая и сопя, ест какие-то сладости. Другой — Федченко попрошайничает у него.

— Ара-ап, да-ай, кусочек шоколаду, — тянет Федченко умильным тоном.

Арап, не отвечая, продолжает громко обсасывать конфету.

— Ну, Арапчик… Ну, голубчик… Са-амый маленький… хоть вот такой вот…

Арап молчит.

— Это свинство с твоей стороны, Арап, — говорит Федченко. — Это подлость.

Арап, сопя носом и продолжая сосать шоколад, отвечает своим картавым голосом:

— Убирлайся к черлту!

— Арапушка!

— Убирлайся, убирлайся… Нынче не суббота, не подают.

— Ну, хоть са-амыи маленький. Дай хоть из рук откусить.

— Не прлоедайся.

— Ладно же, сволочь ты этакий! — говорит Федченко, вдруг рассвирепев. Попросишь ты: у меня когда-нибудь гостинца!

— Даже и не подумаю прлосить, — сосет, равнодушно Арап свой шоколад.

— Я тебе это припомню, дрянь, — не унимается Федченко. — Ты, небось, забыл, как я тебя, подлеца, угощал? Забыл?

Арап вдруг оживляется, и слышно, что он с хлопаньем вынимает шоколад изо рта.

— Ты?.. Меня?.. Угощал?.. Когда?

— Когда? — с задором переспрашивает Федченко.

— Да, когда?

— Когда?

— Ну, когда же? Ну?

— Когда? А помнишь, у меня были пирожки с капустой. Что ж, скажешь, я с тобой не поделился? А? Не поделился?

— Все ты врлешь. Никаких у тебя пирложков не было, — хладнокровно отвечает Арап и опять

принимается за шоколад.

Наступает длинное молчание, в продолжение которого — Буланин чрезвычайно живо себе это представляет — Федченко не сводит жадных глаз со рта Арапа. Потом снова раздается тот же униженный, нищенский голос:

— Ара-апчик… голу-убчик… ну, дай же маленький кусочек… Ну, хоть вот такой крошечный… Самую капельку…

Слышно, как Федченко цепляется за рукав Арапа и как Арап отталкивает его локтем.

— Ну, чего в самом деле прлистал? Сказано: убирлайся, и убирлайся. Я у тебя на прлошлой неделе прлосил мячик, а ты мне что сказал?

— Ей-богу, Арапчик, не мой мячик был. Вот тебе крест — не мой. Это Утконоса был мячик, а он не велел никому давать. Ты знаешь, я тебе всегда с удовольствием… Ну, Арапчик, дай же откусить кусочек.

Неизвестно, что надоедает Арапу: шоколад или приставанье товарища, но он неожиданно смягчается.

— Черлт с тобой кусай. Вот до этих пор, где я ногтем держу. На.

— Ишь ты, ловкий. Обсосанный конец даешь, — обижается Федченко. — Дай с другого.

— А! Не хочешь — не нужно.

— Ну, ладно уж, ладно, — испуганно торопится Федченко. — Давай, все равно. Скупердяй.

Слышится хрустение откусываемого шоколада и ожесточенное чавканье. Спустя минуту опять слышится молящий голос:

— А что же апельсинчика-то, Арапчик? Дай хоть пол-ломтика.

Но конца этой торговли Буланин уже не слышит. Перед его глазами быстрым вихрем проносятся городские улицы, фотограф с козлиной бородкой, Зиночкины гаммы, отражение огней в узкой, черной, как чернило, речке. Грузов, пожирающий курицу, и, наконец, милое, кроткое родное лицо, тускло освещенное фонарем, качающимся над подъездом… Потом все перемешивается в его утомленной голове, и его сознание погружается в глубокий мрак, точно камень, брошенный в воду.

V

Нравственная характеристика. — Педагогика и собственный мир — Имущество и живот. — Что значит дружиться и делиться. — Форсилы. — Забывалы. — Отчаянные. — Триумвират. — Солидные. — Силачи.

Каждые три месяца все воспитатели и учителя гимназии собирались под председательством директора внизу, в общей учительской, на педагогический совет. Там устанавливались воспитательные и учебные приемы, определялось количество уроков по различным предметам, обсуждались важнейшие проступки воспитанников. Ввиду последнего каждый отделенный воспитатель обязан был вести «характеристики» своих воспитанников. Для этого ему и выдавались, по числу гимназистов его отделения, несколько десятков синих с желтыми корешками тетрадок, на обложке которых печатным шрифтом было обозначено:[4]

---

[4] Примечания: 4

Конечно, держались эти характеристики в строжайшем секрете от воспитанников и их родственников, — от вторых, вероятно, по причинам похвальной авторской стыдливости.

Нравственная характеристика
воспитанника N-ской военной гимназии
< > класса < > отделения
Имя:
Фамилия:

Воспитателю оставалось только заполнить на обложке пустые места и затем излагать общими фразами свои бесхитростные наблюдения. И воспитатель, добросовестно относясь к своему долгу, писал: «золотое сердце, но ленив крайне»; «видно дурное влияние домашней среды» (и это чаще всего писалось в характеристиках); «с небольшими способностями, но весьма старательный» и так далее. Затем успехи в науках и благонравие поощрялись на публичном акте 30 августа похвальными листами и разрозненными томами Брема, а лентяев, шалунов и порочных оставляли без отпуска, лишали обедов и завтраков, ставили под лампу, ставили за обедом к барабанщику, сажали в карцер и даже изредка посекали. И все это, взятое вместе, составляло, по мнению начальства, *«твердо обдуманную воспитательную систему, принятую педагогическим советом на основании глубокого и всестороннего изучения вверенных его руководству детских натур и прочного доверия, питаемого воспитанниками к их*

воспитателям».

А между тем внутренняя, своя собственная жизнь детских натур текла особым руслом, без ведома педагогического совета, совершенно для него чуждая и непонятная, вырабатывая свой жаргон, свои нравы и обычаи, свою оригинальную этику. Это своеобразное русло было тесно и точно ограничено двумя недоступными берегами: с одной стороны — всеобщим безусловным признанием прав физической силы, а с другой — также всеобщим убеждением, что начальство есть исконный враг, что все его действия предпринимаются исключительно с ехидным намерением учинить пакость, стеснить, урезать, причинить боль, холод, голод, что воспитатель с большим аппетитом ест обед, когда рядом с ним сидит воспитанник, оставленный без обеда…

И как это ни покажется странным, но «свой собственный» мальчишеский мирок был настолько прочнее и устойчивее педагогических ухищрений, что всегда брал над ними перевес. Это уже из одного того было видно, что если и поступал в число воспитателей свежий, сильный человек с самыми искренними и гуманными намерениями, то спустя два года (если только он сам не уходил раньше) он опускался и махал

рукой на прежние бредни.

Капля за каплей в него внедрялось убеждение, что эти проклятые сорванцы действительно его вечные, беспощадные враги, что их необходимо выслеживать, ловить, обыскивать, стращать, наказывать как можно чаще и кормить как можно реже. Таким образом, собственный мир торжествовал над формалистикой педагогического совета, и какой-нибудь Грузов с его устрашающим давлением на малышей, сам того не зная, становился поперек всей стройной воспитательной системы.

Каждый второклассник имел над собственностью каждого малыша огромные права. Если новичок не хотел добровольно отдавать гостинцы, старичок безнаказанно вырывал их у него из рук или выворачивал наизнанку карманы его панталон. Большинства вещей новичка, по своеобразному нравственному кодексу гимназии, старичок не смел касаться, но коллекционные марки, перышки и пуговицы, как предметы отчасти спортивного характера, могли быть отбираемы наравне с гостинцами. На казенную пищу также нельзя было насильственно покушаться: она служила только предметом мены или уплаты долга.

Вообще сильному у слабого *отнять* можно было очень многое — почти все, но зато весь возраст зорко и ревниво следил за каждой «пропажей». Воровство было единственным преступлением, которое доводилось до сведения начальства (не говоря уже о самосуде, производимом над виновными), и к чести гимназии надо сказать, что воров в ней совершенно не было. Если же кто и грешил нечаянно, то потом уже закаивался на всю жизнь. Но и здесь наряду с суровой честностью по отношению к товарищам, «своя собственная» нравственность давала вдруг неожиданный скачок, разрешая и даже, пожалуй, поощряя всякого рода кражу у воспитателей. Конечно, крали чаще всего съестное из шкафчиков в офицерских коридорах. Крали вина и наливки, и крали обыкновенно со взломом висячих замков.

Кроме прав имущественных, второклассник пользовался также правами и над «животом» малыша, то есть во всякое время дня и ночи мог сделать ему из лица «лимон» или «мопса», покормить «маслянками» и «орехами», «показать Москву» или «квартиры докторов „ай“ и „ой“», «загнуть салазки», «пустить дым из глаз» и так далее.

Новичок с своей стороны обязывался перено-

сить все это терпеливо, по возможности вежливо и отнюдь не привлекать громким криком внимания воспитателя. Выполнив перечисленную выше программу увеселений, старичок обыкновенно спрашивал: «Ну, малыш, чего хочешь, смерти или живота?» И услышав, что малыш более хочет живота, старичок милостиво разрешал ему удалиться.

Всякий новичок считался общим достоянием второго класса, но бывали случаи, что один из «отчаянных» всецело завладевал каким-нибудь особенно питательным малышом, брал его, так сказать, на оброк. Для этого отчаянный оказывал сначала новичку лестное внимание, ходил с ним по зале обнявшись и в конце концов обещал ему свое великодушное покровительство.

— Обижает тебя кто-нибудь, малыш? — спрашивал заботливо отчаянный. — Ты мне скажи правду, не бойся…

— Нет… то есть, конечно, обижают… Вот в воскресенье пирожные отняли…

— Кто же отнял-то?

— Я и сам не знаю… Человек пять… Открыли парту и насильно отняли…

— Ну, уж это подлость! — возмущался отчаянный. — Разве же можно так поступать? А?

— Конечно, нельзя…

— Прямо — свинство… Раз пирожные твои — никто не смеет их брать… Правда ведь?

— Конечно, правда… А то ведь еще, — вспоминает новичок, делаясь смелее, — Занковский вчера мне руку вывернул и очень больно по спине ударил…

— Вот скотина-то! — негодовал отчаянный. — А ты знаешь что? Если тебя кто-нибудь тронет, ты мне скажи… Я уж за тебя заступлюсь. Слышишь?

— Я скажу. Спасибо тебе.

— И знаешь, что еще? Давай с тобой будем дружиться… Ты мне очень понравился с первого раза.

— Давай. Конечно, давай, — радостно соглашался новичок.

— Дружиться и делиться? Ладно?

— Да, да, — ликовал новичок. — Вот-то будет хорошо!

Новые друзья протягивали друг другу руки, и ближайший свидетель, которому вкратце объясняли дело, разнимал их, освящая этой формальностью обоюдный договор.

Но заключенная дружба вовсе не требовала, чтобы старичок, получив где-нибудь кусок пирога или десяток слив, тотчас же принес молодому

другу половину, — молодой друг из этой добычи не получал ни крошечки. Зато если младший дольщик приносил из дому кулечек с провизией, то по крайней мере семь восьмых его содержимого отбиралось старшим дольщиком, глядевшим на них как на своего рода постоянный доход. Конечно, эти самые гостинцы мог «вытрясти из новичка» и первый встречный второклассник, но, как уже сказано было выше, авторитет физической силы стоял в гимназии настолько высоко, что ему подчинялись не только за страх, но и за совесть.

Этот всеобщий культ кулака очень ярко разделил всю гимназическую среду на *угнетателей* и *угнетаемых*, что особенно было заметно в младшем возрасте, где традиции нерушимо передавали из поколения в поколение. Но как между угнетателями, так и между угнетаемыми замечались более тонкие и сложные категории.

Над слабейшим можно было не только «форсить», но можно было и «забываться», и Буланин весьма скоро уразумел разницу между этими двумя действиями.

«Форсила» редко бил новичка по злобе или ради вымогательства и еще реже отнимал у него что-нибудь, но трепет и замешательство малыша

доставляли ему лишний раз сладкое сознание своего могущества.

— Эй, молодой человек, псст!.. Молодой человек, пожалуйте сюда! — окликает форсила новичка, который в длинный осенний вечер бесцельно бродит по зале и с тоской заглядывает через запотевшие окна в холодную непроницаемую тьму.

Новичок вздрагивает, оборачивается, неуверенно подходит к рослому второкласснику и останавливается молча в двух шагах от него.

— Хочешь орешков, малыш? — спрашивает форсила.

Новичок молчит. Он предчувствует, что орехи, предложенные ему так внезапно, неудобоваримы.

— Ну, чего рот разинул? Корова влетит. Хочешь орехов, я тебя спрашиваю?

— Я… не знаю… — бормочет, заикаясь, новичок.

— Не знаешь, так надо попробовать… Держи пошире карман: раз — орех! два — орех! Три, четыре…

Форсила методически щелкает малыша в лоб, пока у того на глазах не выступят слезы.

— Довольно? Накушался? Ну, а теперь для пищеварения не хочешь ли на скрипке поиграть?

И на этот раз, не дожидаясь согласия малыша, он берет в руку последние суставы его пальцев и, поочередно нажимая на них, заставляет импровизированную скрипку гримасничать и взвизгивать от боли.

— Хорошая скрипка, — говорит он, оставив, наконец, в покое руку новичка. Ты ее береги, братец: это скрипка дорогая…

Но форсила все это проделывает «не изо всех сил» и не со зла, потому, что сейчас же он совсем добродушным тоном спрашивает:

— Послушай-ка, малыш, а ты знаешь какие-нибудь истории?

— Что? — удивляется и не понимает новичок.

— Умеешь ты рассказывать какие-нибудь истории? Ну… там… про разбойников или про войну… про дикарей тоже есть хорошие повести…

И вот форсила ложится на подоконник и закрывает глаза, а новичок стоит в это время около своего случайного повелителя и рассказывает, вспоминая читанное или изобретая из своей головы занимательные эпизоды. Едва он замолчит, как повелитель спрашивает полусонным голосом:

— А дальше?

Гораздо страшнее для первоклассников (кроме

второгодних: этих не только не трогали, но, в память прошлого года, позволяли им даже заходить во второй класс) были «забывалы». Их насчитывалось меньше, чем первых, но вреда они причиняли несравненно больше. Забывала, «изводя» новичка или слабенького одноклассника, занимался этим не от скуки, как форсила, а сознательно, из мести или корыстолюбия, или другого личного мотива, с искаженной от злости физиономией, со всей беспощадностью мелкого тирана. Иногда он по целым часам мучил новичка, чтобы «выжать» из него последние, уцелевшие от расхвата жалкие остатки гостинцев, запрятанные где-нибудь в укромном уголке. Шутки забывалы носили жестокий характер и всегда оканчивались синяком на лбу жертвы или кровотечением из носу. Особенно и прямо-таки возмутительно злы были забывалы по отношению к мальчикам, страдающим каким-нибудь физическим пороком: заикам, косоглазым, кривоногим и т. д. Дразня их, забывалы проявляли самую неистощимую изобретательность.

Но и забывалы были ангелами в сравнении с «отчаянными», этим бичом божиим для всей гимназии, начиная с директора и кончая самым последним малышом. Удивительно, какими

только путями, вследствие каких причин и уродливых нравственных воздействий мог сложиться этот безобразный тип! Вероятнее всего, он остался как печальное и извращенное наследие прежних кадетских корпусов, когда дикие люди, выросшие под розгой, в свою очередь розгой же, употреблявшейся в ужасающем количестве, подготовляли других диких людей к наилучшему служению отечеству; а это служение опять-таки выражалось в неистовой порке подчиненных… И такое предположение о происхождении отчаянных тем более справедливо, что сами отчаянные изредка называли себя «закалами» или «закаленными» — термин, как свидетельствуют мемуары николаевских майоров, возникший в корпусах именно в первой половине прошлого столетия, в эпоху знаменитых суббот, когда героем считался тот, кто «назло начальству» без малейшего стона выдерживал сотни ударов.

Прежде всего отчаянные выделялись от товарищей наружностью и костюмом. Панталоны и пиджак у них всегда бывали разорваны в лохмотья, сапоги с рыжими задниками, нечищенные пуговицы позеленели от грязи… Чесать волосы и мыть руки считалось между отчаянными лишней, пожалуй даже вредной, роскошью, «баб-

ством», как они говорили… Кроме того, так как отчаянный принадлежал в то же время к страстным игрокам, то правый рукав пиджака у него был постоянно заворочен, а в карманах всегда бренчали десятки пуговиц и перьев.

Воспитатели побаивались отчаянных, потому что отчаянный «никому не спускал». Если к нему кто-нибудь из воспитателей и учителей обращался на «ты» (это иногда случалось), то отчаянный обрывал хриплым басом:

— Ты мне не тычь! Я тебе не Иван Кузьмич!

В конце концов начальство «махало на них рукой» и дожидалось только, когда отчаянный, не выдержав вторично экзамена в одном и том же классе, оставался на третий год. Тогда его отправляли в Ярославскую прогимназию, куда ссылали из всех гимназий России все, что было в них неспособного и порочного. Но Ярославская прогимназия — и та сортировала отчаянных и спроваживала их, в свою очередь, в Вольскую прогимназию. Об этой Вольской прогимназии между воспитанниками ходили самые недостоверные, но ужасные слухи. Говорили, что там прогимназистов обучают различным ремеслам простые кузнецы, слесари и плотники, которым предоставлено право бить своих учеников; го-

ворили также, что там по субботам обязательно дерут всех учеников: виноватых — в наказание, а правых в поощрение, на что будто бы каждую субботу истребляются целые воза ивовых прутьев.

Каждый отчаянный знал, что рано или поздно ему не миновать Вольской, и постоянно бравировал этим, бравировал, если только можно привести такое сравнение, с тем же напускным самохвальством, с каким арестант, осужденный на каторгу за крупное убийство, хвастается и куражится перед мелкими воришками.

— Ну что ж, в Вольскую так в Вольскую! — говорил отчаянный, сплевывая сквозь зубы. — Не боюся никого, кроме бога одного!

Трое отчаянных особенно резко запечатлелись в памяти Буланина, и впоследствии, уже окончив гимназию, он нередко видел во сне, как ужасный кошмар, их физиономии. Эти трое были: Грузов, Балкашин и Мячков — все трое без роду, без племени, никогда не ходившие в отпуск и взятые в гимназию из какого-то благотворительного пансиона. Вместе они составляли то, что в гимназии называлось «партией».

Грузова товарищи прозвали Волком (конечно, никому из «слабеньких» не приходило в голову назвать его так), и действительно, в нем было

много общего с этим ночным грабителем: и развалистая походка, и взгляд исподлобья, и хищные инстинкты, и подлая смесь наглости с трусостью. Перед силачами, перед богатыми товарищами он униженно заискивал. Некоторые, не без основания, подозревали его в двух-трех кражах, но оставляли его в покое частью по неимению улик, частью от боязни его злопамятства. Из всей партии он был бесспорно самый глупый, самый сильный и самый трусливый. Весь возраст отлично помнил, что однажды, когда Грузова вели сечь, он ползал у директора в ногах и целовал его сапоги. При каждом слове, на каждом шагу он ругался, как пьяный солдат, самой площадной бранью, и это служило ему оружием, при помощи которого он держал в руках даже силачей. Всякий намек на сентиментальность, всякое проявление порядочности: жалость к обижаемому мальчику, сострадание к истязуемому животному, участие к больному преподавателю — в какой бы форме эти чувства ни выразились — он встречал их таким градом сквернословия, что виновный невольно начинал стыдиться своего хорошего движения. И его глумление действовало тем неотразимее, что Грузов все-таки обладал хотя и грязным и циническим, но несомненным юмором.

Второй из партии — Балкашин — был прямо-таки чудовищем. Все животные инстинкты, какие себе только можно представить, развились у этого двенадцати-тринадцатилетнего мальчика до невероятной степени. Награбив целую гору сластей и домашней провизии, он прятал всю добычу в постель и потом, покрывшись с головой одеялом, поедал ее потихоньку, как настоящий зверь. После рождественских праздников он выкидывал из своего стола все учебные пособия, так как туда иначе не могли бы вместиться нахватанные им гостинцы. И он ел их с утра до вечера, во время уроков и в переменки, до обеда и после него. Едва успев обглодать курицу, он брался за смоквы, потом без малейшей передышки переходил к свиному салу, которое тотчас же закусывал тянучками и калужским тестом. Случалось, что среди этой оргии лицо Балкашина вдруг принимало бледно-зеленый оттенок, а глаза становились мутными и страдальческими… Но и тогда, прежде чем стрелой выскочить из класса, он находил в себе настолько самообладания, чтобы запереть свой столик на огромный висячий замок. При добывании гостинцев Балкашин не брезговал никакими средствами, а за обедом и завтраком подбирал и выпрашивал

всякие огрызки.

Если он не ел, то непременно спал где-нибудь: или под лавкой в «Камчатке», или в нише коридора под ворохом шинелей. Он был развращен действительно уж «до мозга костей». Невозможно описать всех тех гадостей, какие он проделывал с некоторыми из первоклассников, проделывал открыто, так сказать, всенародно, нимало не смущаясь вниманием собравшейся публики.

Точно на смех, судьба подарила этому негодяю физиономию настоящего херувима: нежные шелковистые волосы льняного оттенка, большие голубые глаза с длинными, загнутыми вверх ресницами, очаровательного рисунка рот. К тому же он обладал прекрасным голосом и считался в гимназическом церковном хоре постоянным солистом.

Душою «партии», инициатором всех совершаемых ею пакостей был, бесспорно, Мячков, самый изобретательный и самый зловредный член триумвирата. Мячков, несомненно, носил в себе зачатки лютой наследственной чахотки: об этом говорила его узкая, впалая грудь, землисто-желтый цвет лица, сухие губы, облипшие вокруг резко очерченных челюстей, и большие черные глаза с желтыми белками и нехорошим блеском.

Очень может быть, что сознание болезни и смутное предчувствие близкой смерти (он тогда уже покашливал, а умер шестнадцати лет) поддерживали в нем эту нечеловеческую, беспощадную, вечную озлобленность. Своей утонченной жестокостью он возбуждал отвращение даже в тех из старичков, нервы которых, казалось, притерпелись ко всему на свете… Своих жертв он даже не мучил, а прямо пытал — обдуманно, постепенно, с очевидным наслаждением, стараясь как можно более продлить этот приятный акт. В нем было что-то ненормальное, болезненное и страшное… Это все чувствовали, но никто не умел свести свои наблюдения даже в метком прозвище.

Одна из любимых штук Мячкова заключалась в том, что он подходил к новичку и заводил с ним длинный дружелюбный разговор. Новичок таял. Между прочим, и как будто бы вскользь Мячков хвалил сложение своего собеседника:

— А ты, должно быть, очень сильный, братец. Гляди, в будущем году из первых силачей станешь. Только ты, наверно, силу скрываешь. Грудь-то, грудь у тебя какая молодецкая!

Новичок, польщенный комплиментом, краснел от удовольствия и еще больше выпячивал грудь:

— Ишь ты, просто как печка, — продолжал расхваливать Мячков. — Я думаю, если тебя по груди кто ударит — тебе это пустяки? А? Наверно, и не почувствуешь? Правда?

— Разумеется, правда, — хорохорился новичок. — Я… все могу…

— Можешь?

— Могу!

— Вытерпишь, значит?

— О! Я! Я все вытерплю!..

Зловещие огоньки в зрачках Мячкова разгорались сильнее, и он спрашивал нежным голосом:

— А можно попробовать?

— Пожалуйста… Сколько угодно! — продолжал храбриться новичок. — Валяй, сделай одолжение. Мне это все равно что ничего. — И он выгибал грудь колесом.

Тогда Мячков размахивался и изо всех сил ударял наивного хвастуна, но не в грудь, а под ложечку, как раз туда, где кончается грудная клетка и где у детей такое чувствительное место. Несколько минут новичок не мог передохнуть и с вытаращенными глазами, перегнувшись пополам, весь посиневший от страшной боли, только раскрывал и закрывал рот, как рыба, вытащенная из воды. А Мячков около него радостно

потирал руки, кашлял и сгибался в три погибели, заливаясь тоненьким ликующим смехом.

Мячков ел очень мало, а сладкого и совсем не мог есть по причине дурных зубов. Однако для того, чтоб лишний раз насладиться чьим-нибудь горем, он грабил новичков наравне с двумя прочими членами партии, уступая им «свою порцию».

Пожалуй, к категории угнетателей можно было отнести и немногочисленную группу «солидных». Под «солидностью» в гимназии подразумевалась несколько напыщенная важность, происходящая от глубокого сознания собственного достоинства; впрочем, тот смысл, который придавали этому слову воспитанники, почти непереводим на обычный язык. Принадлежа большею частью к порядочным и зажиточным семействам, солидные были настолько сильны и настолько самоуверенны, что умели ограждать себя от насильственных действий отчаянных, форсил и забывал. Солидные очень заботились о своей наружности, танцевали на гимназических балах и создавали господствующую в возрасте моду. Так, например, один год самой модной считалась прическа с пробором на левой стороне и с большим коком, взбитым на правой.

На следующий год эту прическу сменила другая — ежиком, и весь возраст принялся усердно взъерошивать волосы кверху щетками. Самыми шикарными панталонами считались «штаны с колоколами», то есть узкие, в обтяжку до колен, а от колен расходящиеся вниз трубой. Переделкой казенных панталон в модные «штаны с колоколами» занимались за умеренное вознаграждение гимназические портные, приходившие каждую ночь чинить разорванное за день платье.

Даже язык и походку солидные выдумали для себя совсем нечеловеческие. Ходили они на прямых ногах, подрагивая всем телом при каждом шаге, а говорили, картавя и ломаясь и заменяя «а» и «о» оборотным «э», что придавало их разговору оттенок какой-то карикатурной гвардейской расслабленности.

Собственно, солидных нельзя было назвать угнетателями в тесном смысле этого слова, но все же в их обращении с новичками всегда слышалось наигранное, оскорбительное пренебрежение. Столкнувшись где-нибудь в коридоре или на лестнице с разбежавшимся новичком, солидный брал его осторожно двумя пальцами за рукав и говорил с брезгливой гримасой на лице:

— Что ж ты стал, мальчишка? Прэхэди п'жал-

ста. — И затем пускал ему вдогонку одну из любимых фраз солидных: — Глюп, туп, нерэзвит… эттэго, что мало бит.

И только в самом крайнем случае, действительно рассердившись, солидный замечал сердито:

— Этэ мэльчишество! Я вам, мэлэдой чээк, все ушонки эбэрву!

Еще снисходительнее к малышам были «силачи», настоящие, признанные всем возрастом, так сказать, патентованные силачи. Эти считали ниже своего достоинства форсить или забываться. И гостинцев у малышей они не отнимали, а довольствовались добровольными приношениями — данью восхищения и обожания.

В каждом отделении был свой первый силач, второй, третий и так далее. Но, собственно, силачами считался только первый десяток. Затем были главные силачи в каждом возрасте, и, наконец, существовал великий, богоподобный, несравненный, поклоняемый — первый силач во всей гимназии. Вокруг его личности реяла легенда. Он подымал страшные тяжести, одолевал трех дядек разом, ломал подковы. Малыши из младшего возраста глядели на него издали во время прогулок, разинув рты, как на идола.

Чтобы повыситься в лестнице силачей, было

одно верное, испытанное средство — драка. И часто впоследствии во время урока приходилось Буланину писать такие, например, летучие записочки, передаваемые из рук в руки по адресу:

«Козлов, ты свинья. После Буркена выходи драться».

Дрались обыкновенно в ватерклозете. Все отделение присутствовало при этом. Иногда дерущимся туго перевязывали веревкой основание кисти для того, чтобы кулак налился кровью и стал тяжелее. Строго соблюдались правила: подножку не давать, лежачего не бить, не переходить в «обхватку», за волосы не хватать, голову под мышку не зажимать, лица рукавом не закрывать. Свидетели следили за правильностью драки; они же решали, на чьей стороне победа. Надо сказать, что злобы в этих драках вовсе не было, и часто Буланин и Козлов, омыв разбитые носы у общего умывальника, спокойно и дружелюбно играли через пять минут в пуговки или ездили верхом друг на друге. Но существовало и еще одно строгое правило для такого рода драк. Если, например, пятнадцатый силач победил десятого, то он должен был потом драться последовательно с четырнадцатым, тринадцатым, двенадцатым и одиннадцатым. И бывший десятый проделывал

то же самое, но в обратном порядке. Угнетаемые также разделялись на несколько классов. Между ними были «фискалы», или «суки», были «слабенькие» (у этих существовало и другое, совсем неприличное название), «тихони», «зубрилы», «подлизы» и, наконец, «рыбаки», или «мореплаватели».

VI

Фискалы. — Письмо Буланина. — Дядя Вася. — Его рассказы и пародии на них. — Блинчики дяди Васи. — Сысоев и Квадратулов. — Заговор. — Сысоева «накрывают». — Зубрилы. — Рыбаки. — Еще об угнетаемых. — Подлизы.

В гимназической жизни не было более тяжкого и опасного преступления, как фискальство. Фискала не принимали ни в одну игру; не только дружиться с ним или миролюбиво разговаривать, но даже подавать ему руку считалось унизительным. Единственное обращение, допускаемое с фискалом, были подзатыльники, со-провождаемые известным сатирическим куплетом:

Фискал,
Зубоскал,
По базару кишки таскал.

Таким образом, фискал считался навсегда исключенным из общества, и только какая-нибудь особенно дерзкая выходка, направленная к спасению «попавшегося» товарища или ко вреду

нелюбимого воспитателя, могла заслужить ему полное прощение.

Надо заметить, что сознательного фискальства — из выгод, из желания отличиться или приобрести доверие воспитателя — в гимназии совсем не было, и устное предание не запомнило ни одного такого случая. Большею частью репутация фискала приобреталась невольно.

По издавна укоренившемуся правилу, воспитанник, получивший в драке или по другому поводу здоровенный синяк под глазом, должен был на вопрос воспитателя о причине такого украшения отвечать, что, мол, упал с лестницы и расшибся (и почему-то виноватой всегда оказывалась лестница, так что даже воспитатели к этому привыкли и спрашивали иронически: «Что? С лестницы упали?»). Но иногда, по неопытности или движимый чувствами боли, мести или раздражения, он называл истинную причину возникновения синяка. С этого момента он уже становился фискалом.

Гимназическая среда ломала по-своему характеры и привычки. Чрезвычайно редко попадали в нее такие нервные, самостоятельные и чуткие ко всякому оскорблению натуры, которые отказывались мириться с жестоким деспотизмом

самодельных обычаев. Одному богу известно, как калечила их в нравственном смысле гимназия и какой отпечаток клало на всю их жизнь вечное истерическое озлобление, поддерживаемое в них беспощадной травлей целого возраста.

Начиналось это с того, что прибитый кем-нибудь мальчик шел к воспитателю и жаловался. Его били за это вторично, били в третий и в четвертый раз… По мере побоев росла упорная, безумная ненависть фискала к его мучителям и доходила в конце концов до того, что он сам выискивал случая пойти наперекор установившимся законам. Покинутый, обегаемый и презираемый всеми, он молча разжигал в себе жгучую злобу против окружавшего его маленького мира. Завязывалась страшная, неравная борьба между истерзанным, полубольным, слабым мальчиком и целой ордой бесшабашных сорванцов…

Такого фискала, конечно, остерегались, потому что, если в его присутствии совершалось что-нибудь противозаконное, он говорил со злорадным торжеством: «А вот я пойду и пожалуюсь воспитателю!» И несмотря на то, что его стращали самыми ужасными последствиями, он шел и действительно фискалил. Наконец обоюдная ненависть достигала таких пределов, что даль-

ше ей идти было некуда. Тогда против фискала употреблялось последнее зверское средство: его, выражаясь гимназическим жаргоном, «накрывали».

Один такой случай остался неизгладимо в памяти Буланина, даже запомнился месяц и число, потому что на другой же день Буланин писал своей сестре-институтке поздравления и вскользь упоминал о «случае».

«Милая Любочка!

Поздравляю тебя с днем твоего ангела и от души желаю тебе всего-всего хорошего. Хотел бы очень поздравить тебя лично, но, к несчастью, невозможно. Посылаю тебе две налепные картинки: кошечку и цветы. Извини, что ничего лучше не посылаю. А у нас был вчера случай. Второклассники накрыли фискала, и он теперь в лазарете, чтобы не фискалил. Картинки я выменял у Чижова на две дюжины перьев с Наполеоном. А били его ночью, когда все воспитанники заснули, только я все слышал. Засим целую тебя крепко… Твой любящий тебя брат М. Буланин».

Поздравление это было послано Буланиным 16 сентября, а событие, о котором он в нем писал, произошло днем раньше, на дежурстве «дяди Васи».

«Дядей Васей» прозвали Василия Васильевича Бинкевича, одного из двух штатских воспитателей младшего возраста. У него также имелось два других прозвища: «Черномор» — за густую длинную бороду, и «Вральман» — за его отчаянно неправдоподобные рассказы «из прежней жизни».

Действительно, дядя Вася за свою долгую воспитательскую практику изолгался до такой степени, что если бы он и вздумал рассказать когда-нибудь о настоящем, невымышленном происшествии, — ему не поверил бы ни один малыш. Врал он вовсе не для снискания популярности, а искренно и бескорыстно, как заправский художник. Импровизируя рассказы о самых изумительных, чудовищных приключениях, которые заставили бы покраснеть самого барона Мюнхгаузена, дядя Вася увлекался до того, что, без сомнения, не только глубоко верил в подлинность этих приключений, но даже как будто бы переживал их вторично.

Для дяди Васи вовсе не было тайной, что воспитанники чуть ли не в глаза смеются над ним, но все же, несмотря на это, он не мог воздержаться от неистового вранья. Трудно сказать, каким образом эта черта родилась в нем и разрослась до

таких удивительных размеров. Явилась ли она в те долгие зимние вечера, когда дежурные воспитатели, ошалев от скуки, бесцельно по целым часам бродили взад и вперед по залам или изводили кипы бумаги, изображая сотни раз подряд свою фамилию с каким-либо замысловатым росчерком? Было ли это вранье следствием редкого перевеса фантазии над рассудком и волей? Или, может быть, в нем, в этом вранье, находил себе позднее своеобразное утешение бывший честолюбец, которому не улыбнулась судьба?.. Или, наконец, не скрывался ли за почтенной наружностью дяди Васи тихий, безопасный маньяк?

В своих рассказах дядя Вася весьма небрежно обращался как с историческими фактами, так и с данными, вытекавшими из его предыдущих рассказов. Иногда он фигурировал в них в качестве гражданского инженера, строившего мост через Волгу и реставрировавшего Исаакиевский собор; в другой раз он отправлялся чрезвычайным посланником в Париж; в следующий вечер участвовал в венгерской кампании, будучи блестящим офицером гвардейской кавалерии. И если, например, постройка моста через Волгу совпадала по времени с чрезвычайной миссией в Париже и кто-нибудь из слушателей лукаво замечал это,

дядя Вася отвечал, нимало не смущаясь:

— Ну да… что же тут особенного? Я так и делал: неделю строю мост — потом еду в Париж; там проведу неделю — и опять на Волгу. Все на экстренных поездах… По сто семидесяти верст в час!..

Ему ничего не стоило рассказать хотя бы о том, как он по желанию императора Николая I читал лекции инженерного искусства и небесной механики его сыну Александру. При этом дядю Васю вовсе не стесняло то обстоятельство, что он был приблизительно лет на десять моложе своего ученика.

Любовью гимназистов дядя Вася не пользовался, так же как не пользовался ею ни один воспитатель. Но так как дядя Вася большого вреда не делал, не устраивал «курилам» ловушек и, зная гимназические нравы, не жаловал фискалов, то и вражды к нему возраст не питал. А вранье его даже привлекало всегда многочисленных слушателей.

Обыкновенно после обеда, когда до вечерних занятий давалось два часа свободного времени, кто-нибудь из второклассников «собирал компанию» слушать дядю Васю. Охотники сейчас же находились. Они разыскивали дядю Васю в

дежурной или в одном из классов, окружали его и просили:

— Василь Василич, расскажите что-нибудь из вашей прежней жизни.

Дядя Вася сначала, для виду, отнекивался, говорил, что ему некогда, что он все давно и забыл и, наконец (уже начиная сдаваться), что «не знает, о чем бы это рассказать». Тогда его понемногу наталкивали на тему:

— Ну расскажите что-нибудь про дворец. Вы же ведь бывали во дворце, Василь Василич?

И он принимался рассказывать, сперва вяло, как будто бы нехотя, но потом закусывал удила и создавал одну вдохновенную импровизацию за другой. Тем временем слушатели подбегали со всех сторон, и вскоре вокруг дяди Васи образовывалось густое сплошное кольцо. Некоторые шли по бокам дяди Васи, другие сзади, протискивая головы вперед, чтобы лучше слышать, третьи, обнявшись и образовав неразрывную цепь, пятились задом. Каждый раз, дойдя до одного из концов залы, дядя Вася медленно топтался на месте, чтобы дать время повернуться всему окружавшему его живому ядру.

— Был однажды я приглашен на парадный бал во дворец, — говорил он, расправляя на обе сто-

роны свою длинную бороду, придававшую ему вид библейского патриарха — Ну, понятно, вся знать здесь: иностранные кронпринцы, дипломатический корпус, генералитет и все прочее… И уж, конечно, танцы танцуют не какие-нибудь, а, например, экосез, полонез и все в этом роде. Стою я на одном конце залы, а на другом сидит на бархатном малиновом диване маркграфиня Бранденбургская. Ну, прямо — писаная красавица… в белом атласном платье и шлейф аршин в девять… только вдруг, вижу я, маркграфиня роняет веер… Тут сейчас же кидаются к ней князья там разные… графы, бароны… Понятно, каждому лестно услужить. А я и думаю себе: «Нет, думаю, хоть вы и бароны и графы, но вы еще не знаете Василь Василича Бинкевича…» А зала, надо вам сказать, шагов пятьсот имела в длину. Разбежался я, знаете ли, подпрыгнул этак вверх и через всю залу пролетел на одной шпоре. Пролетел, схватил раньше всех веер и уже несу маркграфине. А посланник американский… забыл его фамилию… страшный богач, миллионер… отводит меня в сторону и говорит тихонько: «Послушайте, передайте мне этот веер, мне необходимо для политических видов, а я вам за него тотчас же выдам чистоганом пятьсот

тысяч долларов». Ну, уж я его и обрезал: «Нет, говорю, мистер… эх, беда, забыл фамилию-то!.. ну, да у меня дома записано, потом припомню… нет, мистер, русского гвардейского офицера не только за полмиллиона, а даже за все сокровища Нового Света нельзя купить…» После этого государь меня к себе подзывает. «Здравствуй, Василь Василич, давно мы с тобой не видались». Я говорю: «Давненько, ваше величество». Ну, конечно, поговорили мы немного. Потом государь и говорит: «Знаешь, Василь Василич, я ведь тебя давно хотел видеть. Не желаешь ли ты занять пост министра путей сообщения?» А я отвечаю: «Нет, ваше величество, эта должность хлопотливая, и притом многие будут мне завидовать, дайте мне лучше место воспитателя в военной гимназии». — «Ну, хорошо, — говорит государь, — будь по-твоему. А за то, что ты американца сконфузил, объявляю тебе мое спасибо»…

На темы рассказов дяди Васи ходили между воспитанниками пародии, преувеличенные до абсурда. В одной из них говорилось, например, о том, как дядю Васю во время его путешествия со Стенли[5] выбросило на *необитаемый* остров.

---

[5] Примечания: 5

Стенли Генри Мортон (1841–1904) — американский путешественник, исследователь Африки.

Тотчас же сбежались дикари, а дикари на этом необитаемом острове были поголовно людоеды. Сначала они кинулись было на дядю Васю с томагауками, но тотчас же опомнились. «Ах, это вы, Василь Василич! Извините, пожалуйста, а мы было вас совсем не узнали». — «То-то же, негодяи, смотрите у меня в другой раз, — заметил им строго дядя Вася. — А где же здесь пройти в Петербург?» — «А вот-с, сюда пожалуйте, сюда… Ступайте по этой дорожке, все прямо, прямо, так и дойдете до самого Петербурга», — отвечали дикари, падая на прощанье в ноги дяде Васе.

Шестнадцатого сентября, после обеда, дядя Вася ходил взад и вперед по зале, окруженный, по обыкновению, густой толпой воспитанников. Он рассказывал о том, как во время блокады Парижа[6] прусской армией осажденные — в том числе, конечно, и дядя Вася — принуждены были питаться кониной и дохлыми крысами и как потом, по совету дяди Васи, его задушевный друг Гамбетта решился сделать путешествие на

[6] Примечания: 6

…во время блокады Парижа. — Имеется в виду осада Парижа прусскими войсками осенью 1870 года, во время франко-прусской войны.

воздушном шаре.[7]

Рассказ изобиловал комическими штрихами, и Бинкевич, поощряемый неумолкаемым дружным хохотом публики, врал особенно затейливо. Но он и не догадывался, что причиной смеха служили вовсе не комические места его импровизации, а те рожи, которые за его спиной строил второклассник Караулов (для чего-то перековерканный товарищами в Квадратулова).

Особенная прелесть шуток, откалываемых Квадратуловым, заключалась в том, что он только что стащил в дежурной комнате со стола целый десяток блинчиков с вареньем, принесенных на обед дяде Васе в виде третьего блюда. (Дяде Васе постоянно приносили обед в возраст из дому, и это, между прочим, служило поводом некоторого

---

[7] Примечания: 7

…Гамбетта решился сделать путешествие на воздушном шаре. — Гамбетта Леон Мишель (1838–1882) — французский политический деятель, один из лидеров буржуазных республиканцев, по образованию юрист. Особенно выдвинулся как адвокат в годы Второй империи — при Наполеоне III. Возглавлял буржуазно-республиканскую оппозицию Наполеону III. Когда под влиянием революционного натиска народных масс, возмущенных социальной политикой реакционной власти и ее неспособностью организовать сопротивление вторгшимся пруссакам, император был низложен и была провозглашена республика, Гамбетта стал министром внутренних дел в т. н. «правительстве национальной обороны». Любитель эффектных жестов, он возбудил много шума своим бегством из Парижа, осажденного пруссаками, — Гамбетта улетел из столицы на воздушном шаре. После подавления Парижской коммуны Гамбетта сблизился с правыми группировками буржуазных республиканцев.

уважения к нему со стороны воспитанников. Были и такие воспитатели, как, например, Утка, которые съедали казенный обед в удвоенной порции.) И теперь за спиной дяди Васи Квадратулов поедал эти блинчики, то отправляя в рот сразу по две штуки и делая вид, что давится ими, то улыбаясь, как будто бы от большого удовольствия, до ушей и поглаживая себя по животу, то, при поворотах, изображая лицом и всей фигурой страшнейший испуг.

Дядя Вася, набросив с живописными подробностями процедуру надувания шара, перешел уже к тем трогательным словам прощанья, которые он сказал отлетавшему Гамбетте. Но как раз на этом интересном месте его прервал дежурный воспитанник, подбежавший с докладом, что директор осматривает спальню младшего возраста. Дядя Вася поспешно выбрался из облепившей его толпы, обещав досказать воздушное путешествие Гамбетты как-нибудь в другой раз.

Буланин был в это время здесь же и видел, как второклассники со смехом окружили Квадратулова, поспешно доедавшего последний блин, и вместе с ним шумной гурьбой вошли в отделение. Но минуту или две спустя этот смех как-то вдруг оборвался, потом послышался сердитый

голос Квадратулова, закричавшего на весь возраст: «А тебе что за дело, свинья?!» — затем, после короткой паузы, раздался бешеный взрыв общей руготни, и из дверей стремительно выбежал второклассник Сысоев.

Этот Сысоев, ненавидимый товарищами за неисправимое фискальство и постоянно ими избиваемый, всегда и как-то мучительно тревожил любопытство Буланина. Гимназическая шлифовка не положила своего казенного отпечатка на его красивое, породистое и недетски серьезное лицо с нездоровым румянцем, выступавшим неровными розовыми пятнами на щеках и под бровями.

Для Буланина не была новостью открытая, непримиримая вражда, шедшая между этим худым, нежным мальчиком и всем вторым классом. И в этой-то самой припадочной, безумной дерзости, с которой Сысоев восставал против «всех», и заключалось для Буланина то загадочное, страшное и притягивающее, что так часто привлекало его внимание.

Выбежав из класса, весь бледный, трясущийся, с разорванным чьими-то руками воротником пиджака, Сысоев остановился в дверях и выкрикнул, задыхаясь от злобы:

— А вот нарочно… и пойду, и пожалуюсь… Скажу, кто украл, скажу!.. Вот нарочно профискалю… Назло, назло, назло…

Из класса со свистом и гиканьем выскочило человек десять с Квадратуловым во главе. Сысоев бросился от них, точно заяц, преследуемый собаками, весь скорчившись, неровными скачками, спрятав голову между плеч и поминутно оглядываясь. За ним гнались через обе залы, и только тогда, когда он с разбегу влетел в «дежурную», преследователи так же быстро рассыпались в разные стороны.

В этот вечер среди второклассников было замечено странное, необычное, но глухое оживление. В те свободные полчаса, что давались до вечернего чая, они ходили кучками, по четверо и по пятеро, обнявшись. Говорили о чем-то чрезвычайно горячо, но вполголоса, наклоняясь один к другому и боязливо озираясь по сторонам; при приближении новичка они замолкали с враждебным видом.

Другие в одиночку шныряли между этими кучками, подходили к ним поочередно, бросали на лету какие-то слова, производившие еще большее волнение, и торопливо, с таинственным лицом спешили к следующим кучкам. Новички

с боязливым любопытством наблюдали за этой загадочной суетой. Чувствовалось, что приготовляется что-то большое, серьезное и нехорошее.

Буланин зазвал за классную доску Сельского, всегда благоволившего к нему, и стал просить умоляющим тоном:

— Послушай, Сельский, голубчик, что такое во втором классе делается? Ну, миленький, ну, расскажи, пожалуйста…

— Много будешь знать — скоро состаришься, — сухо ответил Сельский.

— Сельский, душечка, ей-богу, никому не скажу. Прошу тебя… пожалуйста…

Сельский отрицательно покачал головой и хотел уйти из-за доски. Но Буланин ухватился за его рукав и еще настойчивее пристал к нему. В конце концов твердость Сельского не выдержала, тем более что у него самого, по-видимому, чесался язык поделиться секретом.

— Ну, так и быть… ладно, — сказал он, сдавшись окончательно. — Только смотри, помнить уговор: чур, никому ни полсловечка.

И, обернувшись во все стороны с недоверчивым видом, Сельский добавил, понижая голос:

— Сегодня ночью старички хотят «накрыть» Сысоева.

Буланин не понял всего смысла, заключавшегося в словах Сельского, но тон, каким они были произнесены, и этот незнакомый термин сразу произвели на него впечатление чего-то сверхъестественного и ужасного, подобно тем простым словам, которые иногда в лихорадочных снах принимают такое зловещее, потрясающее значение.

— Накрыть? Ты сказал — накрыть? — повторил Буланин, широко раскрывая глаза. — Что это значит?

Доброе, миловидное лицо Сельского нахмурилось, и он отвечал с напускной суровостью:

— А очень просто. Накроют голову одеялом или подушкой, чтобы не кричал, и отдуют по чем попало… И так и нужно, — добавил он, нарочно разогревая в себе злобное чувство. — Так и нужно. В другой раз пусть не фискалит, каналья.

Буланин вдруг почувствовал странный, раздражающий холод в груди, и кисти его рук, мгновенно похолодев, сделались влажными и слабыми. Ему представилось, что на его собственное лицо наложили мягкую подушку и что он задыхается под ней.

— Про кого ж он… профискалил? — спросил, справившись, наконец, со своим воображением,

Буланин.

— Про Караулова. Караулов спер у дяди Васи какие-то там блинчики, что ли, а этот пошел и профискалил.

— Зачем же он это сделал? Ему-то что?

— Ну, вот, поди же!.. Одно слово *псих*! — решил Сельский, выговаривая это определение с невыразимым презрением. — Еще куда бы ни шло, если б он самому дяде Васе сказал, — дядя Вася не обратил бы внимания, а то он в дежурной прямо на директора наткнулся, да и бухнул при нем. А директор взял да и оставил Караулова до рождества без отпуска. Может быть, даже погоны снимут…

Сельский повернулся, чтобы выйти из-за доски, но Буланин еще раз остановил его:

— Сельский, подожди… А очень больно ему будет, когда его… накроют? спросил он с выражением страдания в глазах.

— Н-да-а… Уж в другой раз позабудет, как и фискалить… Наверно, в лазарет завтра пойдет. А ты, Буланка, вот что: если будешь болтать, плохо тебе придется. Понимаешь?

За вечерним чаем все отделения возраста сидели обыкновенно на разных столах. Буланин со своего места видел лицо Сысоева и его длинные

тонкие пальцы, крошившие нервными движениями булку. Пятна румянца выступили резче на его щеках, глаза были опущены вниз, правый угол рта по временам судорожно подергивался. «Знает ли он? Предчувствует ли он что-нибудь? — думает Буланин, не отводя испуганных глаз от этого лица. — Что он будет чувствовать всю эту ночь? Что он будет чувствовать завтра утром?» И нестерпимое, жадное любопытство овладело Буланиным. Ему вдруг до мучения, до боли захотелось узнать *все*, решительно все, что теперь делается в душе Сысоева, ставшего в его глазах каким-то необыкновенным, удивительным существом; захотелось отожествиться с ним, проникнуть в его сердце, слиться с ним мыслями и ощущениями.

Под влиянием пристального взгляда Сысоев медленно поднял ресницы и повернул голову. Глаза его в упор встретились с глазами Буланина и остановились, и в ту же секунду Буланин совершенно ясно понял, что Сысоев уже *знает*, что будет с ним сегодня вечером, знает даже, что и Буланину это известно, знает даже и то, что теперь происходит в душе самого Буланина. Как бы в ответ на долгий взгляд Буланина какая-то чудная улыбка, слабая, грустная и ласковая,

чуть-чуть тронула губы Сысоева, а ресницы его опять медленно опустились вниз с болезненным и усталым выражением.

После молитвы в спальне младшего возраста не было обычной возни, хохота и беготни. К одиннадцати часам все стихло. Дядя Вася в последний раз обошел все проходы спальни и ушел в дежурную. Следом за ним по коридору прокрался кто-то босой, в одной рубашке, с головой, закутанной тужуркой. Буланин догадался, что это «сторож». Действительно, через пять минут «сторож» вернулся и, не открывая головы, протяжно свистнул. Тотчас же в том отделении, где спал второй класс, послышался звук, в значении которого Буланин не мог ошибиться: кто-то опустил висячую лампу вниз и затем быстро толкнул ее вверх, чтобы она потухла. Вслед за первой потушили и вторую лампу. В спальне стало темнее.

Буланин лежал, чутко прислушиваясь, но ничего не мог разобрать, кроме дыхания спящих соседей и частых, сильных ударов своего сердца. Минутами ему казалось, что где-то недалеко слышатся медленные крадущиеся шаги босых ног. Тогда он задерживал дыхание и напрягал слух. От волнения ему начинало представляться, что на самом деле и слева, и справа, и из-за стен

крадутся эти осторожные босые ноги, а сердце еще громче, еще тревожнее стучало в его груди.

И вдруг среди этого жуткого безмолвия раздался громкий, прерывающийся голос Сысоева, в котором слились вместе и страх, и тоска, и ненависть:

— Кто там? Я вижу… Я вижу тебя! Зачем ты прячешься!..

Буланин приподнялся и сел на кровати, со страхом вглядываясь в темноту. Нижняя челюсть его, против воли, часто и сильно стучала о верхнюю.

— Оставь! — закричал пронзительно Сысоев. — Оставь меня!.. Ос…

Крик внезапно оборвался, окончившись глухим стоном. «Они подушкой его… подушкой», — мелькнуло в голове Буланина, охваченного жалостью и ужасом. Потом послышался сдержанный шум молчаливой, ожесточенной возни, тяжелое дыхание, шлепанье босых ног и частые, как град, тупые удары.

Сколько времени это продолжалось, Буланин не мог определить: может быть, минуту, может быть, полчаса. Вдруг «сторож» опять свистнул. Десятки босых ног беспорядочно, быстро и звонко зашлепали по паркету, где-то повалили табуретку, кто-то задел за кровать, и тотчас же все опять

стихло.

До слуха Буланина долетели слабые протяжные стоны… Сысоев уже не мог кричать.

Сельский был прав: на другой же день фискала отправили в лазарет, а через месяц родные вовсе взяли его из гимназии. Непонятным, поразительным казалось Буланину, почему, покидая навек гимназию, Сысоев не воспользовался последней местью, остававшейся у него в руках, почему он ни слова никому не сказал о том, что с ним делали в ту страшную ночь: без сомнения, зачинщиков по меньшей мере сильно высекли бы. И в этом умолчании Буланину чудилось присутствие того же загадочного, таинственного, что так тянуло его к Сысоеву за вечерним чаем.

Довольно сильным утеснениям с разных сторон подвергались и «зубрилы-мученики».

В то время когда форсилы и отчаянные не без хвастливой гордости декламировали:

Единица да нули —
Вот и все мои баллы.
Двоек, троек очень мало,
А пятерок и «шеперок»
Совершенно не бывало, —

для зубрилы единица казалась самым страшным предметом в мире. Чтобы избежать «кола», зубрила каждый вечер так старался, что на него и жалко и забавно было смотреть. Заткнув оба уха большими пальцами, а остальными плотно придавив зажмуренные глаза и качаясь взад и вперед, зубрила иногда в продолжение целого часа повторял одну и ту же фразу: «Для того чтобы найти общее наименьшее кратное двух или нескольких чисел... для того чтоб найти... чтоб найти... чтоб найти...» Но смысл этих слов оставался для него темен и далек, а если, наконец, и запечатлевалась в уме его целая фраза, то стоило резвому товарищу подбежать и вырвать книгу из-под носа зубрилы или стукнуть его мимоходом по затылку, как все зазубренное с таким великим трудом мгновенно выскакивало из его слабой головы. Несмотря на все старания зубрилы избежать единицы, он все-таки на другой день получал ее и каждый раз неизменно, садясь на место, заливался горькими слезами, вызывавшими дружный хохот отделения.

Из числа угнетаемых больше всего могли бы вызывать сожаление «рыбаки», или «мореплаватели». Так назывались несчастные мальчики, страдавшие весьма нередким в детском возрасте

недостатком, заключавшимся лишь в неумении вовремя просыпаться ночью. Нет сомнения, что каждый из этих робких, запуганных, нервных детей — будь поменьше за ним надзора и побольше снисхождения к нему, — без труда выучился бы сдерживать свои невольные отправления. Но по отношению к ним и начальство и товарищи делали все от них зависящее, чтобы рыбаки ни на минуту не забывали о своем недостатке…

Прежде всего начальство распорядилось отделить рыбаков от товарищей и отвести им отдельное место, поближе к умывалке. Затем обыкновенные волосяные матрацы у рыбаков были заменены соломенными тюфяками, конечно, ввиду экономии. Тюфяки эти не обновлялись в течение целого года (и даже чуть ли не переходили из поколения в поколение), так что солома в них окончательно сгнивала, обращаясь в зловонную густую массу. Проходя мимо «рыбацкой слободки», каждый воспитанник непременно зажимал крепко нос и на несколько секунд затаивал дыхание. Нервных субъектов прямо-таки тошнило от этого ужасного запаха.

Нечего и говорить о том, как «травили» и «изводили» бедных мореплавателей товарищи. Каждый проходивший вечером около их кро-

ватей считал своим долгом бросить по адресу рыбаков несколько обидных слов, а рыбаки только молчали, глубоко сознавая свою вину перед обществом. Иногда кому-нибудь вдруг приходила в голову остроумная мысль — заняться лечением рыбаков. Почему-то существовало убеждение, что от этой болезни очень хорошо помогает, если пациента высечь ночью на пороге дверей сапожным голенищем. И вот часов в двенадцать целая орда хватала спящего рыбака за руки и за ноги, влекла его к дверям, распластывала поперек порога и начинала под общий хохот, свист и гиканье симпатическое лечение.

Товарищи все-таки обращали на рыбаков больше внимания, чем начальство. Они хотя и в дикой форме, но проявляли своеобразную заботливость об их здоровье. Начальство же и медицинский персонал глядели на этот вопрос с невозмутимым равнодушием.

«Тихони» и «слабенькие» были в гимназии такими же, как и во всех учебных заведениях. На «подлиз» смотрели несколько строже. Если замечали, что воспитанник чересчур часто суется к преподавателям с предложением ножичка и карандашика или лезет к ним с просьбами объяснить непонятное место, или постоянно подымает

кверху руку, говоря: «Позвольте мне, господин преподаватель, я знаю…», в то время когда спрошенный товарищ только хлопает в недоумении глазами, — когда замечали за кем-нибудь такое поведение, его считали подлизой…

Но «подлизываться» слишком долго и слишком откровенно было и невыгодно и невозможно, потому что в конце концов весь класс ожесточался против подлизы. Тогда стоило ему только встать с предложением услуг или поднять кверху руку, как весь класс начинал топать ногами и кричать: «Садись!.. На место, на место…» В то же время бесцеремонные руки хватались за фалды его пиджака и тянули его обратно на скамейку. С целым классом шутить было опасно, и если преподаватель в этих случаях спрашивал подлизу, что он хотел сказать или сделать, подлиза, поспешно садясь на место, бормотал:

— Нет, нет, ничего, господин преподаватель. Я ошибся… я так…

Так сортировала эта бесшабашная своеобразная мальчишеская республика своих членов, закаляя их в физическом отношении и калеча в нравственном. И много-много выпало на долю Буланина колотушек, голодных дней, невыплаканных слез и невысказанных огорчений, пока

он сам не огрубел и не сделался равноправным человеком в этом буйном мире. Говорят, что в теперешних корпусах дело обстоит иначе. Говорят, что между кадетами и их воспитателями создается мало-помалу прочная, родственная связь. Так это или не так — это покажет будущее. Настоящее ничего не показало.

VII

Военные гимназии. — Кадетские корпуса. — Фиников. — «Иван Иваныч». Труханов. — Рябков. — Дни рабства. — Катастрофа.

Как раз в этом же году военные гимназии превратились в кадетские корпуса. Сделалось это очень просто: воспитанникам прочитали высочайший указ, а через несколько дней повели их в спальни и велели вместо старых кепи пригнать круглые фуражки с красным околышем и с козырьком. Потом появились цветные пояса и буквы масляной краской на погонах.

Это было время перелома, время всевозможных брожений, страшного недоверия между педагогами и учащимися, распущенности в строю и в дисциплине, чрезмерной строгости и нелепых послаблений, время столкновения гуманного милютинского штатского начала с суровым сол-

датским режимом.[8]

Большая неразбериха господствовала в отношениях. Штатские преподаватели еще продолжали учить фронту, произнося командные слова на дьяконский распев. Между ними были большие чудаки, которым оставалось год-два до полной пенсии; на этих воспитанники чуть не ездили верхом. И состав преподавателей все еще был каким-то допотопным. Чего, например, стоил один Фиников, учитель арифметики в младших классах. Приходил он в класс оборванный, нечесаный, принося с собою возмутительный запах грязного белья и никогда не мытого тела. Должно быть, он был вечно голоден. Однажды кадеты положили ему в выдвижной ящичек около кафедры, куда обыкновенно клали мел и губку, кусок крупяника, оставшегося от завтрака. Фиников, как будто по рассеянности, съел его. С тех пор ею прозвали

---

[8] Примечания: 8

...время столкновения гуманного милютинского штатского начала с суровым солдатским режимом. — Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912) — русский военный и государственный деятель; с 1861 г. по 1881 г. военный министр. Перу Милютина принадлежит ряд трудов по военной истории, статистике и географии. Милютин был инициатором преобразования кадетских корпусов в военные гимназии, где преподавали штатские педагоги. В 1882 году, с наступлением реакции, военные гимназии были вновь реформированы в кадетские корпуса. Программа по общеобразовательным предметам, которым уделялось много внимания в военных гимназиях, подверглась сокращению, был снова введен суровый солдатский режим.

«крупяником», но зато мальчишки никогда уж впоследствии не забывали Финикова: если на завтрак давали какое-нибудь нелюбимое блюдо, например, кулебяки с рисом или зразы, то из числа тех кусков, которые уделялись дядькам, один или два шли непременно в пользу Финикова.

Ставя отметки, он терпеть не мог середины — любимыми его баллами было двенадцать с четырьмя плюсами или ноль с несколькими минусами. Иногда же, вписав в журнал круглый ноль, он окружал его со всех сторон минусами, как щетиной, — это у него называлось «ноль с сиянием». И при этом он ржал, раскрывая свою огромную грязную пасть с черными зубами.

Про него между кадетами ходил слух, что он, производя какой-то физический опыт, посадил свою маленькую дочь в спирт и уморил ее. Это, конечно, было мальчишеским враньем, но в Финикове и вправду чувствовалось что-то ненормальное; жизнь свою он кончил в сумасшедшем доме.

Многие из учителей «зашибали». Этим пороком страдал добрейший в мире человек — Иван Иваныч, учитель истории. Но он никогда не терял внешнего приличного вида. В синем форменном фраке с золотыми пуговицами, в безукоризнен-

ном белье, он, бывало, ходит-ходит по классу от окон к дверям и вдруг, точно мимоходом, юркнет за доску. Вынет из бокового кармана склянку, глотнет из нее несколько раз и опять выходит наружу, пожевывая какую-то лепешечку. По классу проносится струя спиртного запаха, кадеты гогочут, а Иван Иваныч говорит жалобным тоненьким голоском, прижимая пальцы к вискам:

— Не смейтесь, господа, нехорошо смеяться. Я человек больной, у меня порок сердца. Если я не буду принимать лекарства, я могу каждую минуту умереть.

Ставил он исключительно высшие баллы, а в старших классах перед экзаменами предлагал кадетам написать ему на общей бумажке, кто что хочет отвечать. На уроках его каждый делал, что хотел: читали романы, играли в пуговки, курили в отдушник, ходили с места на место. Он только нервно потирал свои виски пальцами и упрашивал:

— Господа, господа, потише… Пожалуйста, потише… Инспектор услышит…

У него было два прозвища: «Фан Фаныч» и — почему-то — «Елена с ушами». Он был маленький, белокурый, лысенький, в пенсне, которое у него поминутно спадало. Но у этого кроткого, забитого

человека водилось одно редкое и симпатичное пристрастие — любовь к истории Петра Великого. На ее прохождение он тратил почти весь год в седьмом классе и читал ее, конечно, не по Иловайскому, а по серьезным научным источникам. Когда кадет, отвечая урок о Полтавской битве, приводил знаменитый петровский указ, кончающийся словами: «А о Петре ведайте, что Петру жизнь не дорога, жила бы только Россия, ее слава, честь и благоденствие», Иван Иваныч неизменно останавливал его и, потирая виски, со слезами на глазах восклицал тоненьким восторженным голосом:

— Ах, какие слова! Повторите, пожалуйста, еще раз это прекрасное место. Господа, господа, прислушайтесь, прошу вас.

И уж, конечно, ставил отвечавшему двенадцать баллов.

Иногда, прерывая свою лекцию о Петре, он вдруг восклицал мечтательно:

— Ах, господа! Всегда самая моя заветная мысль была — это приобрести хорошую английскую гравюру с портрета Петра Великого. Но я человек бедный. Я бедный человек, господа…

На почве этой его необузданной любви к памяти великого царя произошел однажды смешной и

трогательный эпизод. Кадет Трофимов — рыжий длинный балбес со ртом до ушей и в веснушках — встал, науськанный кем-то, и спросил:

— Иван Иваныч, а правда, что Петра назвали великим за то, что он был большого роста?

— Болван! — вдруг завизжал Иван Иваныч и побагровел и затопал ногами. Негодяй! Шут!

И, схвативши с тумбочки губку, он запустил ею в Трофимова. Но этого ему показалось мало. Он быстро взбежал на кафедру, развернул журнал и одним движением пера влепил Трофимову такую единицу — первую единицу за всю свою учительскую деятельность, — которая растянулась по крайней мере на шесть чужих клеток вверх и вниз.

Пил и другой учитель — русского языка — Михаил Иванович Труханов, и пил, должно быть, преимущественно пиво, потому что при небольшом росте и узком сложении отличался чрезмерным животом. У него была рыжая борода, синие очки и сиплый голос. Однако с этим сиплым голосом он замечательно художественно читал вслух Гоголя, Тургенева, Лермонтова и Пушкина. Самые отчаянные лентяи, заведомые лоботрясы, слушали его чтение, как зачарованные, боясь пошевельнуться, боясь пропустить

хоть одно слово. Какой удивительной красоты, какой глубины чувства достигал он своим простуженным, пропитым голосом. Ему одному обязан был впоследствии Буланин любовью к русской литературе.

Учителя немецкого языка, все как на подбор, были педантичны, строги и до смешного скупы на хорошие отметки. Их ненавидели и травили. Зато с живыми, веселыми французами жили по-дружески, смеялись, острили на их уроках, хлопали их по плечу. Если французский язык был в начале и в конце классных занятий, то особенным шиком считалось вместо молитвы до и после ученья прочитать, например, «Чижика» или «Эндер бэндер козу драл».

Однако были и свирепые преподаватели, например учитель географии, подполковник Лев Васильевич Рябков. Сухой, желчный, вспыльчивый человек. Он решительно всем воспитанникам, даже в старших классах, говорил «ты», младших дергал за уши и вытягивал линейкой между плеч, а иногда даже лягался шпорой. Но любимым для него развлечением было вытащить к карте кадета с польской фамилией и непременно католика. В течение целого часа изощрялся над ним Рябков, зло и грубо карикатуря его язык, национальность

и религию. Тут бывало и «жечь посполита», и «от можа и до можа», и «крулевство польске», и «матка боска Ченстоховска, змилуйся над нами, над поляками, а над москалями, як собе хцешь».

Этот Рябков удивительно красиво и точно чертил на доске мелом географические карты — прямо точно печатал.

Но бедному Буланину было в этот год не до науки. Над ним стряслась жестокая и позорная катастрофа.

Чем дальше тянулось время, тем менее находил он в себе решимости признаться матери в своем долге Грузову за волшебный фонарь. Он смутно понимал, что Аглая Федоровна, по своему властному, придирчивому и чувствительному характеру, во что бы то ни стало выпытает у Миши все подробности и тогда уж непременно полетит жаловаться самому директору корпуса. Что ей за дело до того, что она навеки погубит товарищескую репутацию Буланина в его тесном, замкнутом кадетском мирке. Конечно, она считает все эти железные внутренние законы просто мальчишескими выдумками, которые разлетятся прахом, стоит только открыть глаза начальству. Так думал за нее Буланин, и не ошибался, и был в данном случае мудрее и проницательнее своей

матери.

И он не открывался ей. Он предпочитал приходить в корпус с пустыми руками и получать жестокие побои от Грузова. Иногда ему удавалось внести в счет долга гривенник, или пару яблоков, или пяток украденных у матери папирос. Но долг от этого уменьшался едва заметно, потому что Грузов запутал своего должника сложной системой ростовщичьих процентов.

Наконец однажды, зимним утром, в понедельник, после чаю, когда во всех классах и залах горели лампы, а кадеты уныло дрожали от холода, Грузов ткнул Буланина кулаком в зубы и сказал:

— Слушай меня, ты, жулябия! Вижу, что деньги мои ты зажилил. Начнем счет снова. Ну, вот я тебе говорю: утренняя булка две копейки, вечерняя — копейка, завтрак — три копейки, второе блюдо за обедом — две, третье — три. Когда хочу — тогда спрашиваю. Согласен? И это пусть будет за проценты. А два рубля отдашь потом.

— Хорошо, — сказал Буланин, не поднимая глаз.

— Кроме того, будешь мне каждый день чистить сапоги. Это тоже за проценты… Да?

— Хорошо.

Наступило для Буланина жуткое, тяжелое вре-

мя. Грузов отбирал у него все утренние булки, все вкусные завтраки и непременно третье блюдо за обедом, а иногда и третье и второе. Сапоги он должен был чистить Грузову до совершеннейшего глянца, иначе тот бил его и прогонял чистить вторично. Все это, вместе с недоверием к матери, с невозможностью объясниться с нею и попросить помощи, сильно угнетало мальчика. Он опустился, стал рассеян, сделался неряхой, перестал учиться. Его постоянно наказывали, то ставя под лампу, то лишая пищи. И случалось нередко, что за целый день он питался только тарелкой супа и двумя кусками черного хлеба — остальное шло Грузову и школьному правосудию.

Он побледнел, погрубел, обозлился и, сам не желая этого, очутился на счету отчаянного. Его все чаще и чаще лишали отпуска. Нельзя сказать, чтобы эта воспитательная мера помогала его расстроенной душе. Когда же он изредка приходил в отпуск, то Аглая Федоровна с вечера субботы до вечера воскресенья выговаривала ему о том, каковы бывают дурные мальчики и какими должны быть хорошие мальчики, о пользе труда и науки, о мудрости опыта, в которую надо слепо верить, а впоследствии благодарить за преподанные уроки, и о прочем. Все это были золотые, но

ужасно скучные и неубедительные истины.

Буланин и сам уж не так охотно ходил в отпуск в те редкие недели, когда это ему разрешалось. Он изнервничался, стал шутовать перед товарищами, терял мало-помалу вкус к жизни и детское самоуважение. Тут-то над ним и разразилась катастрофа.

В воскресенье он был без отпуска. После обедни устраивали «слона», играли «в горки», переодевались в вывернутые наизнанку мундиры, мазали себе лица сажей из печки. Буланиным овладела какая-то пьяная, истерическая скука. Стали ездить верхом друг на друге. Буланин сел на плечи рослому Конисскому и долго носился на нем по залам, пуская бумажные стрелы.

В арке, между залами, стоял штатский воспитатель Кикин, — так, безличное существо, одинаково робевшее и заискивавшее как перед мальчишками, так и перед начальством. Буланину бросились в глаза пряди его маслянистых, бурых, разноцветных волос, спускавшихся с затылка на воротник. Он велел своей «лошади» остановиться и взял осторожно двумя пальцами одну косичку. Для чего он это сделал, он и сам не знал. Против Кикина он не имел злобы. Молодечествовать тоже было не перед кем, потому что

кругом не было зрителей. Просто он это сделал от темной, острой тоски, которая переполняла его душу.

Но Кикин вдруг обернулся, побледнел, крикнул: «Что вы делаете!» — и поспешно побежал в дежурную. Через полчаса Буланина отвели в карцер, где продержали сутки.

А в четверг, после утреннего чая, всех кадет младшей роты, вместо того чтобы распустить по классам, построили в рекреационной зале. Собрались воспитатели всех четырех отделений, первого и второго класса, и наконец — и это было уж совсем необыкновенным явлением — пришел директор. Было еще не светло, и в классах горели лампы.

Директор вынул из-за обшлага какую-то бумагу, и Буланин вдруг задрожал мелкой, противной, безнадежной дрожью.

— По постановлению педагогического комитета, кадет Буланин, позволивший себе такого-то числа возмутительно грубый поступок по отношению к дежурному воспитателю, приговаривается к телесному наказанию В размере десяти ударов розгами.

Случилось вдруг отвратительное чудо. Прежде было сто мальчиков, ничем друг от друга

не отличавшихся, и между ними равный всем Буланин, — и вот он выделился, далеко отошел ото всех, заклейменный исключительным позором. Тяжесть навалилась на него, пригнула его к земле, приплюснула.

— Кадет Буланин, выйдите вперед! — приказал директор.

Он вышел. Он в маленьком масштабе испытал все, что чувствует преступник, приговоренный к смертной, казни. Так же его вели, и он даже не помышлял о бегстве или о сопротивлении, так же он рассчитывал на чудо, на ангела божия с неба, так же он на своем длинном пути в спальню цеплялся душой за каждую уходящую минуту, за каждый сделанный шаг, и так же он думал о том, что вот сто человек остались счастливыми, радостными, прежними мальчиками, а я один, один буду казнен.

В спальне, в чистилке, стояла скамейка, покрытая простыней. Войдя, он видел и не видел дядьку Балдея, державшего руки за спиной. Двое других дядек Четуха и Куняев — спустили с него панталоны, сели Буланину на ноги и на голову. Он услышал затхлый запах солдатских штанов. Было ужасное чувство, самое ужасное в этом истязании ребенка, — это сознание неотврати-

мости, непреклонности чужой воли. Оно было в тысячу раз страшнее, чем физическая боль…

Прошло очень много лет, пока в душе Буланина не зажила эта кровавая, долго сочившаяся рана. Да, полно, зажила ли?

* * *